Василий Белый

 ДОМ У ОВРАГА

 повесть - эссе

 (По письмам Клавдии Васильевны Литяга (Калиниченко)

Он был, наверное, небольшим – раньше ведь здесь строили жилье, а не хоромы, - и все его обитатели называли его уменьшительно, ласково и очень просто: «наш домик». А стоял он на перекрестке двух главных улиц станицы Абинской: имени Шевченко и Старокладбищенская.

Одна своим восточным направлением вела в центр станицы, а западным - за околицу и тянулась дальше уже дорогой на Крымскую, на Новороссийск; а другая была вообще-то железнодорожной, но почему-то называлась так: «узкоколейка». Дом и все его обитатели очень гордились тем, что они – у «железки». Правда, она, эта самая «железка», никуда особо далеко не вела – ни в города, что были где-то, ни в горы, что синели далеко на юге. Весь путь паровозика, «Кукушки», как все его называли, был в одну сторону – так до станции Абинская на настоящей железной дороге, что виднелась вдали, а в другую сторону – всего лишь в военный лагерь, его все абинчане называли почему-то «лагеря», что был расположен южнее станицы, в излучине речки Абин, где летом учились и служили бойцы, сержанты и командиры Красной Армии.

И ходил он не часто, если днем, то это бывало лишь тогда, когда сюда приезжали командиры или какая-нибудь ревизия или оказия, а в обычные дни, т.е. ежедневно, он, как настоящий разведчик, скрывался от людей и ходил только под покровом темноты: в лагерь так в три часа поутру, когда станичники еще спали, а на станцию – так где-то уже часов в 10 вечера, когда и лампа-то редко у кого горела.

Несмотря на место – как же, на «перекрестке», - дом из себя особенно вон не лез, не очень этим и гордился – стоял себе в середине большого огорода, среди грядок и цветника, был виден отовсюду и ловил первые лучи взошедшего солнца, оно ярко освещало его окна, блестело на весь белый свет и манило детей на улицу. И домашние не засиживались, вернее даже, и не «залеживались» в постелях, скоро во дворе уже пылал огонь в летней печи, и обед варился в казанках.

Главным делом было – принести воды из колодца. Чаще всего идти за водой – а колодец это на соседней улице, во дворе церкви, - приходилось Клаве, она была старшей, ей вначале было просто больше десяти, а через время – исполнилось и пятнадцать…

И все, о чем вы сейчас прочтете в этой небольшой повести, - это то, что знала, видела, пережила и запомнила абинская девочка Клава Литяга, о чем, спустя годы и годы, она написала в своих письмах. Читайте, это интересно…

…Колодец был старый, давний, глубокий, говорили, что метров 30, не меньше. Сруб у него высокий, под крышей, аккуратный – при церкви… На барабан веревки намотано много – когда ведро опускаешь, кажется, что дна все нет и нет, а когда поднимаешь полное ведро – постоянно думаешь: когда, наконец, оно покажется?.. Опускали всегда лишь одно ведро, церковное. Из него уже наливали воду в свои ведра. Вода была – зубы ломило…

Во дворе копошились куры, находил свою игру младший брат Володя, бабушка Мария варила борщ, выбирала на грядке овощи для салата, зелень.

Взрослые работали; отец Клавы, Василий Литяга, – в «лагерях», он был хлебопеком. Хлеб, всегда испеченный им, был на самодельных дрожжах, очень пышным, с румяной и хрустящей корочкой. А вот когда бойцов в лагере не было, это было в зимние, снежные месяцы – они уезжали на зимние квартиры то ли в Краснодар, то ли даже в самый Майкоп, - он служил в охране лагеря, ходил днем и ночью по территории с ружьем. Мать Клавы заготавливала хмель отцу на дрожжи – ездила в Верхне – Баканскую, там его собирала на весь год.

Лагерь приютил и давал работу и многим другим жителям улицы Старокладбищенской и округи. На мотовозке, так еще звали «Кукушку», паровозик, что бегал по «узкоколейке», работал дядя Коля Пензарь. Он возил людей на работу и в прачечную, и на бойню, и в ту же самую пекарню.

Когда, было, приедешь в «лагеря», то по левую сторону первой была бойня, где для питания бойцов забивали скот, чаще всего крупный – бычков обыкновенно; потом шла прачечная, где женщины стирали солдатское белье – нательные сорочки и кальсоны, а также прочие постельные предметы – наволочки, простыни, полотенца и пододеяльники, и даже, говорят, что и портянки. «Боец, - часто говорили женщины, - должен постоянно быть чистым; в чистом теле – чистый дух!» В прачечной работали, можно сказать, близкие соседи семьи Литяг – сестры Колосовские. А рядом была как раз и сама эта баня, где бойцы поддерживали свои дух и тело. Там работал дядя Ваня Павленко, родственник Литяг, – кочегаром.

А по правую сторону конечной остановки в лагере стояли дачные домики, здесь жили семьи командиров. Все домики были выкрашены в желтый цвет с красивыми узорами. Они утопали в разноцветье живых цветов, растущих вокруг – особенно много было астр, сирени, петуний, разных петушков.

Таким, в общих чертах, запомнила Клава довоенный военный лагерь в Абинской.Ту его часть, что была доступна ей. А она была в лагере и сама, и с бабушкой Марией. Они ходили туда рвать кизил, грушку - дичку, кислицы. Помнила Клава и одну коллективную поездку в лагерь. Это было в четвертом классе, когда она с классом, - Клава хорошо это запомнила: с ней была одна из девочек из семьи Колосовских, – они в лагере выступали перед бойцами: девочки пели песни, танцевали, читали стихи. Помнила и то, как потом бойцы дарили им цветы, особенно щедро – сирень…

Вечером, когда мотовозка возвращалась из лагеря, вся округа буквально оживала, а все потому, что приезжало, во-первых, много народа, что работали в «лагерях», а, во-вторых, - сестры Колосовские, а они были голосистыми певуньями. А где певуньи, там ведь уже и гармошка голос подает, и танцы затеваются. И не успеешь оглянуться – у самого моста, что на Старокладбищенской, прямо, считай, на остановке, а мост был через овраг, - собирается вся округа: разве усидишь дома, когда поют сестры Колосовские!.. Да и чем заняться, на окраине станицы, если еще рано и спать не хочется…

Почти перед войной брат отца Клавы, дядя Митя, решил построить новый дом – тогда многие строились... Ему помогали все родственники, а их было много; семья Литяг: два брата: Савелий и Мирон, и сестра Марфа, что когда-то приехали на Кубань, именно в станицу Абинскую, с Черниговщины, разрослась. Когда строились, помогали даже дети, особенно те, кому уже было больше десяти лет отроду. Как помнила Клава, в основном топтали босыми ногами стены будущего дома. А и то правда, разве забудешь о том, как старший на стройке, дядя Митя, утром, перед уходом на работу, давал всем детям по конфете в красивой обертке, а вечером, придя домой и, увидев работу, «принимал» ее у детей и вручал всем так раскрашенные пряники: девочкам – матрешки, а мальчикам – тем уж лошадки.

Интересно было, вспоминала Клавдия Васильевна на склоне лет, перемазаться, заляпаться самой глиной, заляпать других. А потом, позже, наработавшись, мыться в большом баке с водой во дворе. Лето было жаркое, работа, как говорят, спорилась… Приятно было потом, устав, вечером уже, поужинав, лечь и спать «без задних ног», как говорили тогда, до самого до утра.

Работа спорилась. Поставили и «выдержали», пока они не затвердели, как камень, стены, накрыли крышу красивой и ладной камышовой кровлей, с нарядными досками по краям и петушками на гребне, побелили все стены снаружи, покрасили дерево – окна, двери, фронтон, отделали кухню и одну спальню. А вот закончить два больших зала, привести их оба в надлежащий порядок, как и задумал дядя Митя, не успели – началась война… И вскоре дядя Митя ушел на фронт…

Из довоенных дел и событий помнились несколько, особенно хорошо – одно: это поход на хутор Ворошилов. Там, рядом с домом родственника, Павленко, дедушка Савелий, чаще его звали просто Савва, держал свою пасеку. Почему именно это?.. Возможно, что самым приятным, радостным даже, вспоминаемым уже в зрелом возрасте и даже в старости, да всегда - с улыбкой и слезами радости, со всеми тогдашними подробностями и даже теми словами, что сказаны были еще тогда, считай, в ее детстве, для Клавы были именно эти походы или, как она писала, «поездки» на Ворошилов - по нескольким причинам. Может быть, потому, что эти поездки были многие годы, причем, ежегодно, а, бывало, что и не раз за лето, с ними, по- моему, Клава и выросла… На них она прошла курс родительского воспитания, любви к родине, хоть, как я уже говорил, для дедушек родиной была и не здешняя земля, а далекая, где – то на Украине, Черниговщина. Может быть, потому, что это были редкие уже тогда моменты полного слияния человека с природой: лесом, что окружал и взрослых, и детей, криницей в овраге, пением птиц и жужжанием многих пчел и незабываемыми запахами свежего, только из улья, ароматного меда…

Обычно это происходило так…

… Пасека была большой, 50 ульев. А при них жилье Саввы – не то домик, не то просто кладовка, а в ней – все необходимое для работы с пчелами. На зиму Савва укрывал их матами из соломы – он сам их сделал. По весне, как начиналось тепло, он уходил на свою пасеку, освобождал ульи от матов и часто жил там, проветривал их, пока пчелы мед всюду собирали. Литяги - остальные тоже там бывали, – картошку сажали. Земли там у семьи было много, чтобы на всю зиму хватило. Как помнила сама Клавдия Васильевна, вся картошка была сорта «Красная роза», такая рассыпчатая, вкусная… Дедушка Павленко домик имел в хуторе, он стоял в лесу, а вокруг – сад, более гектара. Груши, яблони, даже райские были, ранние такие. Чтобы ходить друг к другу, дедушка сделал мосток через овраг, а внизу, в овраге – криницу. Вода была, прелесть, холодная. А в лесу росли дикие груши, кислица, много кизила. Дед летом заготавливал фрукту, яблоки резал и сушил уже ломтиками, а груши – целиком, в золе.

Деревья, причем разные, росли и возле пасеки – много черноклена, акации, липы, кустов боярышника. Когда все это было в цвету – глаз было не оторвать. А на ближних полях – такое разнотравье… Запах, аромат стоял – не надышишься, можно было запросто опьянеть или получить, ну, полное головокружение… Чистая благодать для пчел и радость - для пчеловода.

Когда же пчелы собрали достаточно меда, дедушка Савва приглашал бабушек и детей «качать мед». Все, ясное дело, охотно соглашались «поехать» на пасеку. Ведь это же мед качать – какая красота!.. Грузили на тачку – она называлась повозочкой, – «качалку» - медогонку и все вещи, необходимые для сбора меда, и «ехали» - везли тачку, ухватившись кто за что мог. «Ехали» «кучетом», т.е. большой толпой.

«Доехав» до Владыкиной горы, останавливались на отдых. Когда все, а когда лишь только желающие или кого пошлют дедушки – бывало и такое, - спускались вниз, в темный и даже немного страшный овраг, к Лузанкиному роднику, что «бил» из Лузанкиной горы, и там набирали холодной воды. Поднявшись на дорогу, все пили - жадно, прямо аж задыхаясь, - потея, потом отдыхали. Отдохнув, «ехали» дальше…

В лесу – новый отдых. Отдышаться, пот вытереть, лицо «прибрать»… Природа вокруг – в станице такого не увидишь. Птички какие-то – какие, не понять! – свистят, щебечут, поют, чирикают – концерт прямо-таки… Кажется, слушал бы весь день!.. Наконец, кончается лес, по которому уже одни дедушки везут тачку. Дорога идет прямо к хутору.

Дедушки снова присели отдохнуть, каждый под отдельный дуб… Понятно, они ведь уже старенькие, устали: дорога – то идет все время в гору, да и тачка с грузом – вес немалый. Но они хорохорятся, смеясь, хитрят: они говорят, что, не отдохнув, к пчелам нельзя – те не поймут, еще закусают!.. Бабушки же уходят в лес, ищут заросли кизила, орешника… Дети рядом возятся, дают прозвища дубам, под которыми отдыхают старики. Один дед сидит под дубом Савва, другой – под дубом Мирон. Третий дуб, под которым никто не сидит, дети называют именем Кондрат. Это имя третьего деда, которого сейчас с ними нет.

Пришли бабушки. Отдышались, платки на голове поправили, отдохнули, рассказали, что они нашли много кустов кизила, что всюду он «рясный», т.е. его много, и он уже почти созревает, краснеет. «А орехов!.. – восклицают бабушки – Их столько, что придется прямо с мешком приходить… Вот-вот начнет поспевать…». Будет ли его кто из бабушек рвать, неизвестно. Знать, что его много – и того, и другого, - и помнить, где что растет, - уже радость…

«Поехали» дальше. Вот и хутор!.. Тачку и людей вокруг нее хутор Ворошилов встречает оглушительным собачьим лаем. Но не злым, с рычанием, взахлеб, а как бы приветствуя всех. Видно, собаки рады новым людям в хуторе, особенно тем, кто пока помельше, кто не ударит, а и сам собак побаивается.

Дедушка Савва, как главный пчеловод, открывает ульи, вынимает рамки, дымит на пчел, отгоняя их, одни рамки обрезает, вырезая соты, другие закладывает в «качалку». Взрослые берутся за ручку медогонки, крутят ее, качая мед. Кто-то из бабушек налил меда в тарелку, и все радуются: мед – ложку не повернешь!.. Все хотят попробовать на язык. Детей тут же отгоняют от «качалки», чтобы они не мешали, и чтобы их пчелы не покусали. Просят их сходить в овраг за холодной водой. Овраг крутой и глубокий. Спускаться приходится на штанах, назад, вверх, они ползут чаще всего на четвереньках… И каждый пытается покрутить ручку «качалки», попробовать качать мед. Есть мед ложкой как-то непривычно, другое дело – соты!.. Каждый получает свою порцию; кто облизывается, кто откусил и жует… Все дети радуются: ведь сладко же!..

После визита к дедушке Павленко, когда все уже и меда наелись, и воды очень холодной попили, а дедушки – и тачку загрузили, «кучет» трогается в обратный путь, в Абинскую. Обязательно, как написала Клавдия Васильевна, с тремя остановками.

Взрослым, бабушкам да дедушкам, естественно, такой поход, возможно, и не всегда был в удовольствие, все-таки пешком пройтись на дальний хутор Ворошилова из Абинской для пожилых людей – это нелегко. Даже и в те, довоенные времена. А тем более – с повозочкой, особенно обратная дорога. Хоть и с тремя остановками. Да еще с целым выводком детей. Но разве у них не радовалась душа, глядя на своих внуков? Радовалась! Еще как!..

Что касается детей, и, думается, у всех, а не у одной Клавы, то у них радости и восторга от каждого такого похода или «поездки» было, как там говорят, «по уши», «выше крыши», «по завязку» или как там еще… И – память!.. У Клавдии Васильевны – так на всю жизнь.

«И так было, написала в одном из своих писем Клавдия Васильевна, пока был жив наш дедушка Савва…»

Была у Клавы в памяти еще одна, так скажем, картина, связанная с дедом Саввой – еще с ее раннего детства. Ей казалось иногда, что она, по существу, выросла с музыкой, она у них была всегда, постоянно звучала. И виной тому был дед Савва. Он не только любил музыку и песни, но и сам неплохо играл. Причем, как помнила Клавдия Васильевна, на очень многих инструментах: на скрипке, гитаре, гармошке и даже на большой трубе, которая говорила немногое, но зато как? Бум, бум – во как…

Клаве было всего пять, когда дедушка посадил ее на теплую лежанку плиты, играл, а она пела: «По дороженьке да по Печерской ехал милый мой сам на троечке…»

Музыку в семье любили, кстати, все, а дети так еще и играли… Даже не хуже деда Саввы.

Уже в послевоенные годы по Абинской ходила не то байка, не то даже легенда о том, как молодые Литяги деньги зарабатывали. И не в Абинской, а где-то в плавнях, на хуторах.

Юмор был в том, что это все происходило зимой, т.е. в то время, когда все остальные станичники проедают выращенное да нажитое. Оказывается, когда все из дома и носа не кажут, «Эти бездельники, - говорили, если не в центре, так на Кабанивщине, это уж точно, - взяв скрипку, трубу да барабан, подаются на хутора»

Это, говорили, действительно, так. Зима – это время свадеб. В том числе и на хуторах. А какая же свадьба без музыки? И на каком хуторе в тридцатые годы вы найдете пусть хоть и маленький, но оркестрик?.. А тут Литяги из Абинской1.. Не знаю, кто там на кого напал или кто кого поймал, «зверь ли ловца» или «ловец на зверя», но они нашли друг друга. И музыка звучала – качественная она была или не очень, судить не берусь да и свидетелей ведь уже давно нет, - но все свадьбы были с музыкой, песнями и танцами… А это главное.

Потом, ближе к весне, Литяги приезжали домой, причем, как правило, на телеге, а иногда и не на одной! А на них, кроме инструментов и музыкантов, и их заработок – это и зерно, и мед, и масло, и мука, и горилка, и, разумеется, окорок, а то и два-три от «чималого», как тогда все говорили, кабана или подсвинка, колбасы – на радость детям! – разные соленья… Так говорили, а, как говорили на той же Кабанивщине, «не было бы так, то и не говорили бы…»

Нам, читатель, остается «догадать» немногое: так были ли парни из семьи Литяг такими бездельниками, как о том гласила байка, или они просто были практичными людьми, умели не просто приятно проводить свое время, но и могли - и главное, делали это! – доставить людям радость…

А всему виной был уже старенький дедушка Савелий… Нет, наверное, мне стоит сказать иначе: все это было благодаря дедушке Савелию…

Другим, что крепко запало в душу девушке Клаве, было разрушение церкви, что на улице Старокладбищенской, считай, почти рядом с домом Литяг… Было оно будничным, как-то обыденно проходило, словно как бы между делом. Вроде бы ломали старый, никому не нужный сарай… Или клуню…

Клава утром проснулась вроде бы и неожиданно – от странного звука. Она даже не сразу поняла: то ли это было слышно, то ли ей все это просто показалось. Как будто где-то что-то вроде трещит, ломается. Клава вскочила, встревоженная необычным звуком. Бабушка Мария молча плакала, крестясь и вытирая глаза платком. Клава сразу же спросила ее, что такое случилось, почему она плачет и что такое так трещит?.. Бабушка, не переставая плакать и крестясь, всхлипывая, сказала, что ломают церковь.

Наскоро накинув что-то на себя, они с бабушкой тут же «побежали» посмотреть, как же это?..

Почему пошла бабушка, это понятно, но почему – и Клава?.. Бабушка, вернее, обе – они ходили туда регулярно: церковь была старой, построенной еще первопоселенцами, очень уютной, а главное, близкой. Да и куда им больше ходить, не на концерты же… И всегда, так уж получалось, брали с собой и Клаву – с детства так повелось. И ей это, наверное, и нравилось: тихо, поют женщины, свечки горят, запах особенный – дома такого нет, и что самое главное – крика такого, как нередко был на улице, в церкви нет…

Прибежали… Во дворе – никого. Только ходят, уныло согнувшись, по двору старухи, такие же, как бабушка Мария. А на месте церкви – вчера ведь еще стояла, Клава видела, когда приходила к колодцу за водой! – то ли лежали, то ли громоздились остатки здания – торчали бревна, куски стен, крыши, лежали оконные рамы с пустыми глазницами окон… Старухи среди обломков церкви находили иконы, поднимали их, обтирали фартуками, тихо целовали…

Клава тоже сразу же бросилась к развалинам, нашла сначала одну икону, затем другую, прижала их к себе, понесла домой. Только повесив образа в святом углу, она, вытерев их, рассмотрела и увидела, кто же это ей то ли приглянулся, то ли просто попал под руку?.. Это были Николай Угодник и Матерь божия, как писала потом Клавдия Васильевна…

Клаве было жаль церкви: она была, по ее словам, красивая. Иконы взяла потому, как она говорила, что хотела сохранить хоть что на память… А еще ей было жалко колодца: мало того, что в нем была очень холодная и вкусная вода, он был опрятный, всегда чистый, в него не опускали чьих - попало ведер, рядом никогда не было налито воды и сыро, воду в нем надежно скрывала от любой грязи плотная крышка, и на ночь его запирали на замок.

Бабушка продолжала плакать и дома о чем-то своем. Клава, возможно, чуть успокоившись и оправившись, подождав, пока успокоится и бабушка, вдруг спросила ее: кто это сделал? Зачем?.. И бабушка, расстроясь и вновь расплакавшись, сказала ей, что говорят, что церковь разрушил какой-то Моисеенко, она, говорят на улице старухи, ему не нравилась…

Клава, судя по всему, крепко обиделась на этого неизвестного ей Моисеенко, думаю, что она не простила его, даже умирая… Сужу по ее письму.

Третьим (или уже четвертым?) событием перед войной, тем, что и ценилось, и помнилось до смерти, всегда вспоминалось с радостью и гордостью, это ее участие в строительстве новой школы. Причем, как она подчеркивала в письме, гордость ее, Клавы, была, как бы это так сказать, двоякая: и за то, что она в этом участвовала, и за то, что помогать строить школу тогда вышли все ученики… Трудно представить себе, что на стройке делали, к примеру, пятиклассники, но азартом и духом подъема тогда были охвачены, по словам Клавдии Васильевны, все. Никто не уклонялся, никто не отлынивал! Каждый хотел сделать хоть что для новой школы…

Почему?.. Автор уже не ответит, Думаю, тут две причины. Это было, во-первых, общее дело – а тогда, в конце 30-х прошлого века слово «коллектив» было главным и самым основополагающим для простых, не очень обо всем задумывающихся людей, - а, во-вторых, оно ведь еще же было и добрым, нужным, а это - зажигало, возбуждало, звало чуть ли не к подвигу. Весь девятый класс, где она училась, как писала Клавдия Васильевна, взялся за лопаты, носилки, молотки и мастерки и кисти. Помогали размечать чертеж школы на земле, рыли траншеи под фундамент, возили и носили кирпичи, затевали раствор, клали стены, Носили доски и настилали полы, возводили стропила и ставили крышу. Работа находилась всем: и взрослым, и детям…

Но учиться им в той школе – правда, уже по разным причинам, тогда не пришлось. Клаве потому, что после девятого класса она пошла работать на подсобное хозяйство – оно называлось «ягодное» - вареньеварочного завода, ей уже исполнилось 15 лет, - другие же потому, что тут как раз началась война и в только что построенной школе открыли госпиталь.

Началась она для всех жителей домика у оврага несколько необычно. Клавдия Васильевна до смерти помнила, как. 22 июня Литяги собирались отметить день рождения мамы Клавы – готовились, ждали. Наконец, этот день настал. Все маму поздравили, пожелали ей всего-всего наилучшего, обнимали, целовали… И вдруг увидели – ночью упала на пол в святом углу икона, та, что Клава принесла домой, когда церковь рушили. Вчера еще висела, а сейчас – на полу лежит..Это было так неожиданно и странно – никогда не падала, сколько висит, а тут вдруг, - что стало даже страшновато. Не разбилась, не рассыпалась на части, а просто упала.

Папа молча повесил ее на прежнее место, а бабушка Мария, трижды перекрестившись, сказала, «Что это не к добру, что-то будет…» А к обеду в станице заговорили, что началась война.

Уже с первых дней начался призыв мужчин на фронт. Первым ушел дядя Митя, так и не закончив строительство дома, ушел и, не написав ни одного письма ни жене Тане, ни из родных кому-нибудь, сгинул где-то. Потом, после, через год, а то и два, наверное, принесли, как все тогда всюду говорили, извещение: «Пропал без вести»…

Ушли в армию, на фронт дядя Ваня и еще один дядя, Сидорко, еще, еще и еще… Всех, кто уходил, провожали всей родней, как положено. Провожали и чужих, тех, что уходили, целыми частями, из «лагерей». Уходящие, если в пешем строю, всегда останавливались на привал – не привал, а, скорее всего, для прощания с жителями. Если бойцов привозил дядя Коля Пензарь, что на мотовозке, многие спешили на вокзальную площадь. Кто проститься со своим родным, большинство – просто постоять рядом, поплакать… Собиралось обычно много народа, были и шутки, был и плач. Особенно тревожно было, когда бойцы в строю пели: «Пусть ярость благородная вскипает как волна, идет война народная, священная война…» Женщины всегда просили бойцов остаться живыми, не покидать их. Бойцы же всегда отвечали: «Да вы не плачьте, мы их, немцев, скоро разгоним и уже завтра будем дома…» Кто знает, верили ли им женщины, например, Татьяна Литяга?.. Митя которой ушел в первую неделю и уже который месяц или не пишет, или нет, неизвестно… Верить? Хотелось верить, это верно.

А в начале июля принесли повестку и отцу Клавы. Клава в тот день была дома. Она, что, может быть, чувствовала, кто знает?.. Получив повестку, она бегом – таков был приказ: вручить немедленно! – то и дело всхлипывая от надвинувшейся беды, от которой ты – никуда! – побежала в лагерь, прямо, как говорили тогда, по шпалам узкоколейки… Прибежала, а часовые ее не пускают к отцу, на пекарню.

Шли танки, грохот, пыль стояла – дышать было нечем. Она, уже не всхлипывая, а ревя прямо навзрыд, ждет, пока пройдет техника. Тут ее – может быть, он знал ее, может быть, просто увидел, что девчонка плачет, сердцем понял, как ей трудно! – заметил один из командиров, подошел. Клава молча показала ему повестку. Он остановил движение. И Клава побежала в пекарню. Показала повестку рабочим – папа в этот момент как раз сажал хлебы в печь. Рабочие позвали его. Он вышел, весь мокрый от пота и жары. Увидев Клаву плачущей, а она ничего с собой поделать не могла, слезы так и лились из глаз, папа встревожился: что случилось?.. Она, не говоря ни слова, протянула ему повестку. Папа вздохнул тяжело – он сразу все понял, - переоделся, куда-то сходил, скорее всего, сказал начальству, что пришла и его пора, попрощался с рабочими, объяснив одному из них, как, когда и что надо делать с хлебом, и они пошли домой… Шли молча – и каждый думал о своем. О чем думал будущий воин, мы не знаем, а Клава молила бога о том, чтобы отец вернулся.

Провожали Василия Литягу, как и всех предыдущих воинов, всей родней. А она, родня, даже по абинским меркам, была большой. Хорошо, что все жили кучно, недалеко друг от друга: кто так совсем рядом, кто – обочь, кто-то через дорогу, а кто – и наискосок. Пока сама Клава с отцом шла «по шпалам узкоколейки» домой, она все время думала и о том, как же собрать всех родных в дом у оврага? Ведь не пригласи кого – он обидится на всю жизнь: «ить забыли», скажет… Телефона тогда в Абинской, считай, и не знали, он если и был, то лишь только в служебных кабинетах, да у начальства в квартирах. Электрический свет, я так думаю, тоже не все имели, лампами керосиновыми чаще обходились, хорошо, если там десяти или около, а то и семилинейной довольствовались. А времени повестка отцу отвела мало: вечером ему уже надо было быть на станции. Раньше родню созывали дети, им ты только скажи – они мигом сбегают, позовут… А как быть сейчас, думала Клава, как?.. А проводить надо. И – хорошо… Но придя домой, она поняла, что никого никуда посылать уже и не нужно.

Вроде бы Клава, получив повестку, побежала в «лагеря», даже никому ничего и не сказав, однако, когда они с отцом пришли домой, все из его родни уже пришли, соседи – тоже: сработало так называемое «сарафанное» радио. А когда родни полон двор, и соседей – хоть отбавляй, и, опять же, повод – не приведи господи, то тут, понятное дело, - один сплошной плач. Нет, в доме, конечно, были и песни, и танцы, и стакан вина – на «посошок», а как же: во-первых, семья-то музыкальная, без этого – никак, а, во-вторых, так надо же было воину в путь-дороженьку и бодрости придать, да и себя же, в третьих если, подбодрить стоит – ведь оставаться дома одной с детьми да стариками, хоть и родни вроде как и много, «ну совсем не сахар, прости мою душу грешную»… И уже то там, за столом, то там, глядишь, и слышится горестный голос: «Да сколько же вас будут брать?., Да и кто же дома-то на хозяйстве останется?.. В семье-то лишь старые да малые… Дети, прости господи, да бабы…» Но это так, как бы между делом, «проговоркой», а воину, воину удачи пожелали да живым вернуться наказали…

Пришли на вокзал, дождались нужного поезда, стоят, уже у вагона… У Клавы, как спустя годы и годы вспоминала Клавдия Васильевна, был в то время шестилетний брат, Володя, и вот он, видя, как все вокруг плачут и обнимаются, решил, видно, и сам обнять отца, А как все это сделать, ему, шестилетнему? Он залез на ступеньку вагона, на которой уже стоял, ожидая отход поезда, папа, обхватил отца за ноги и кричит во весь голос: «Папочка, куда же ты едешь?.. Скажи? Папочка, куда же ты едешь?..» Занятые своими заботами, заметили мальчонку да обратили на него внимание провожающие лишь только тогда, когда поезд уже тронулся… Кинулись, закричали, хотели было даже уже состав останавливать!.. Но – не понадобилось. Пока поезд «шел» шагом, успели мальчишку, как говорят, «отцепить» от отца, оторвать его руки от него. Клава помнила всю жизнь последние слова папы Васи – ветер донес! – крикнутые жене: «Галя!.. Детей сбереги!.. Прошу тебя… Слышишь?..»

Заплаканный, с красными глазами, сын успокоился, если, конечно, он успокоился, что мне сомнительно, только по дороге домой. Пока шли, а шли медленно – торопливо идти, хоть уже было и поздно, не получалось, да и куда спешить, думалось, - дом-то пустой, корову разве что в стойло загнать – так это и соседи сделают, - он все всхлипывал и вскрикивал: «Папочка!.. Папочка!..Куда же ты едешь?..» И это его всхлипывание, его слова, наверное, были общим невысказанным воплем.

Вспоминая проводы на фронт отца, Клавдия Васильевна в одном из писем так оценила своих родственников на войне: «Вся наша родня ушла воевать. У нас не было героев. Были простые солдаты, и погибали…» Возвратились, действительно, не все…

Когда уходили с вокзала, все были так возбуждены и огорчены, что даже и не заметили, как прошли и сквер, и саму станцию и вышли на дорогу, ведущую на вареньеварочный завод. Как, одним словом, миновали всю вокзальную красоту. Вот что значит плохое настроение!.. А до того ведь так никогда не бывало – они всегда замечали – да что там замечали – любовались и кафельным полом в зале станции, и тремя белыми столбами, что держали потолок зала, и лавочками вдоль стен – на них так тянуло посидеть! – и ведь посиживали, хоть всего лишь минуточку, лишь прикоснуться к спинке, - и странный проход – нигде такого же не было: в одну дверь вошел, а в другую вышел… А сквер, что был правее здания станции, - из высочайших тополей, толстых – каждую и не обхватишь руками! – а под ними, опять же, скамейки для отдыха, и все это огорожено красивым железным забором, наверное, литым или даже кованным… Надо же, и всего этого не то, что не заметили, не остановились – просто не увидели… А ведь это было одно из самых любимых мест Клавы в станице. Она часто сюда набегала, сама или со своими подружками. А набежав, всегда видела и любовалась, как здесь аккуратно все подстрижено, подметено, покрашено. И всегда не могла удержаться, чтоб не посидеть или за ажурным забором, на ветерке, под тополями, или пройти в зал и посидеть, отдохнуть – и уж совсем не одну минуточку, - в зале, пройтись по удивительно гладкому и чистому – ну нигде ни соринки, ни пылинки! – узорчатому полу, прежде чем уйти с вокзала… А тут, впервые, всего этого не заметили даже, не остановились… Скорее всего, Клавдия Васильевна об этом жалела.

Когда фронт призвал отца Клавы да еще некоторых мужчин из близких соседей, и сам перекресток, и улица Старокладбищенская, и вся округа, вся Кабанивщина, так, по крайней мере, казалось Клавдии Васильевне, как то вроде присмирели, притихли, затаились, что ли? Уже даже крикливые тетки, что раньше разговаривали, каждая за своим забором, повышая голос из-за плетня, вместо того, чтобы выйти да встретиться на улице, поговорить, как говорили раньше, по душам, тихонько, притихли, не стало совсем слышно их голосов. То ли уже вдруг новостей не стало, то ли яркие плакаты типа «Враг подслушивает!..», что висели на домах в центре станицы, на них магически подействовали, то ли еще что, а только тетки притихли, все они, как тогда говорили, «на свой роток накинули платок». Да и о чем и о ком говорить, если разобраться? Мужиков нет, какие вести с фронта придут, никто не знает, радио в центре если сообщает что, то такое, что даже и говорить не хочется… А уж о песнях, что раньше звучали по вечерам на перекрестке, давно и забыли, как о прошлогоднем снеге, не слышно ни голосов сестер Колосовских, ни гармошки, что всегда отзывалась на них, словно гармонист, как говорят, с утра стоял и дожидался, когда же те приедут из «лагерей» и подадут свой голос. О танцах, что всегда являлось продолжением песни, и не вспоминали, как будто их никогда и не было… Даже детей не стало слышно, хоть их-то меньше ведь не стало. Понятно: учеба, в новой школе госпиталь открыли, многие дети там стихи раненым бойцам читают, иногда и письма им из дому читают, а то, бывает и пишут, если кто-то из них не может – по неграмотности или из-за ранения. Собирают – этот клич дошел и до самой Кабанивщины, - белье и теплые вещи то ли для фронта, то ли для, как все говорят, эвакуированных из Ленинграда - тоже забота и время. Так нет: когда каникулы настали – хоть осенние, когда еще тепло было, травка под ногами, хоть и зимние, когда снежок выпал, морозец щиплет нос и уши, - тихо в овраге. Не манит он на свои склоны детвору. Почему, так сразу и не понять. Не манит, и все. То ли холода дети стали бояться. То ли устали от учебы и недетских забот. То ли обстановка в каждом доме, в каждой хате такая, что и санки доставать с чердака не хочется. «То ли дело зимой до того было», - вспоминала спустя десятилетия Клавдия Васильевна – «Овраг аж звенел от детских голосов, наши санки вереницей, а то и наперегонки скатывались с крутой горки… Нередко и хлопцы та девчата смешивались с нами, школьной мелочью, обычно затевались потом целые бои снежками, иногда они заканчивались натиранием лиц снегом, и не факт, что старшие побеждали. Иногда и их «умывали»… Было времечко!..» А теперь в овраге, как и на всей Кабанивщине, было тихо…»

Была и еще одна причина – работа. Ведь с уходом всех мужиков сразу осиротели каждый дом, каждая хатка. А они – и неважно, старая это хатына или новый, буквально перед войной построенный дом, - остро нуждались в мужских руках. Где-то чуть «похилился» плетень, где-то ослабел столб или готов оборваться навес, не закрывается калитка. То же самое и с тем самим домом: где-то окно не плотно закрывается, а это значит – надует холода, не натопишься в зиму. Где-то еще хуже – дверь плотно не запирается, в щель дует: этак из хаты все тепло и выдует. У кого-то крыша – чуть ветерок с юга подует, она топырится, доска фронтона то и дело хлопает или дверца там же – ветер еще в Краснодаре, а она уже тарабанит, спать ночью не дает. Хорошо, что есть дедушка Мирон, - он починит, ты только пригласи его, и он сразу придет…

Но больше всего в памяти Клавдии Васильевны сохранилась ее работа, в поле. Возможно, потому, что именно в это тревожное время она, как тогда говорили, «впряглась в настоящую, во взрослую лямку». А, возможно, и потому, что она, эта «лямка», оказалась слишком уж и взрослой, и нелегкой. Стране, фронту был нужен хлеб, и она, Клавдия Васильевна, хоть вся ее взрослая жизнь и была связана с консервным (так он стал называться после войны) заводом, почему-то лучше всего запомнила и до конца жизни не забывала о том, как они сеяли пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Одни, без мужиков, если кто и был, как говорят, мужского полу, так два-три подростка да парочка дедов старых… В ее памяти и в руках – а как же иначе, все ведь они делали руками своими, женскими и совсем девчоночьими, - лучше всего сохранилась уборка пшеницы, самое трудное. Все сами. И «гарман», помнила она, сами выбирали и «строили». Это такое место для обмолота зерна – кружок или даже и поляна, - она расчищается, выравнивается, поливается и затем трамбуется. И снопы сами свозили со всего поля, сушили их, чтоб хорошо зерно вымолачивалось, и сами молотили: как в старину – цепами, а у кого их не было или кому цеп (это такое орудие труда, когда к длинной рукоятке – около двух метров – крепится веревкой или ремнем кожаным само «било» - обычно около метра – которым, собственно, и бьют по соломе, выбивая зерна) этот был не по силам, тот работал специально для этой цели подготовленными палками. Цепом молотят стоя, держась за держак-рукоятку, взмахивая ею и опуская «било» на ворох соломы, все время целясь попасть по колоскам. Это очень тяжелый, прямо скажем, не женский, а тем более, не девчоночий, труд. Я в юности пробовал молотить цепом: знаю, что это такое… Палкой бить по колоскам, понятное дело, несколько легче. Главное, с палкой можно ведь даже и посидеть или постоять на коленях, но, надо заметить, толку от палки гораздо меньше.

Как писала Клавдия Васильевна, «палки были для того, чтобы скорее, чтобы не оставить зерно в соломе». Днем молотили, а ночью веяли. «Хорошо,- замечает в письме Клавдия Васильевна, - что веялка была». Веяли до утра, засыпая зерно ведрами в агрегат и постоянно крутя его рукояткой. А наступало утро, они – опять сами – насыпали зерно в мешки, грузили их на подводы и на быках отвозили в Шапсугскую. Это была для девчат единственная возможность хоть чуточку отдохнуть – быки рысью не ходят, они идут не так, как кому-то хочется. А как они могут, как они привыкли. Конечно, надо бы и скорее, и все женщины, а тем более, девчушки это понимают, но на чем? - лошадей давно уже нет. Их мобилизовали, как и мужиков, на фронт или в истребительный отряд.

Отправляя зерно для фронта, начальство, слава богу, подумало и о том, что сами наши работницы будут есть – ведь в каждой семье дети, старики. Получила Клава, как тогда говорили, на трудодни – и пшеницы, и кукурузы, и семечек подсолнечных. «Хорошо мне заплатили, - писала потом Клавдия Васильевна, - как и работали – не обидели». Не будь оккупации, может, и хватило бы на семью, хоть и впроголодь, а жили бы. Но, как тогда говорили, «человек предполагает, а кто-то другой – располагает…» Клава работала, ей уже было 15 лет. Но в этом она не видела никакого героизма. Напротив, она в письме подчеркивала, что с началом войны все, даже дети десятилетнего возраста, «с пятого класса» старались помогать фронту, брались за любую работу. А краевед Иван Ашека писал впоследствии: «До начала оккупации абинские школьники собрали для бойцов и эвакуированных из Ленинграда детей 500 пар белья, 980 пар рукавиц, 300 простыней,2610 пар теплых носков, 1520 полотенец, 200 тарелок и 300 ложек».

В один из дней, когда пшеницу уже вывезли в Шапсугскую, Клава была дома. И она увидела картину, которая ее потрясла. По Старокладбищенской улице шли советские бойцы. На них было жутковато смотреть – это были «пленные» - так их назвала в письме Клавдия Васильевна, - бойцы. Их вели с вокзала в «лагеря». Конвоиры были строги и даже жестоки – так показалось Клаве.

Арестованные были обнажены до пояса и все шли босиком. Все были подавлены и очень растеряны, и уже ни песен, ни шуток, как было год назад, когда, возможно, эти же бойцы уходили на фронт, обещая быстро разбить «немца», слышно, естественно, не было. Клавдия Васильевна хорошо помнила, как колонна остановилась у дома дедушки Мирона, в тени, там еще большой орех рос.

Еще бы не помнить: ведь бабушка наполнила ей, Клаве, фартук всем - сухарями, сушеной фруктой, свежими яблоками. И она пошла к «пленным». Один часовой или конвоир ее не пустил, грубо оттолкнул и даже заорал, а другой – напротив, разрешил. Она помнила, как люди кинулись выхватывать все, что было в ее фартуке.

Тот, что пропустил Клаву к арестованным, попросил напиться. Бабушка сама вынесла ему кружку воды. Он попил и поблагодарил. Всю жизнь потом Клавдия Васильевна помнила, как бабушка уже потом недоумевала, говоря: «Полицай, вроде немец, а балакает по-русски…».

Через время «пленных», писала Клавдия Васильевна, опять построили и погнали в «лагеря». Это единственное воспоминание Клавдии Васильевны, которое трудно понять - отгадать.

Когда это было конкретно, спросить не у кого, а надо бы. Дело в том, что в своем письме Клавдия Васильевна несколько раз называет бойцов «пленными». Были это советские бойцы в плену у немцев или бывшие окруженцы или дезертиры, арестованные советской властью и гонимые под конвоем в карантинный лагерь для проверки?.. Вот в чем вопрос?

Исходные данные, как говорят, об этом таковы. Мы все точно знаем о том, что во время фашистской оккупации был концлагерь в центре станицы, во дворе кинотеатра, где тогда держали всех, кого задержали 5 сентября 1942 года в облаве. И был второй лагерь – это во дворе школы, что была на месте теперешней больницы. Там держали мобилизованных на строительство немецкой оборонной линии. И есть легенда о том, что в абинском военном лагере уже перед самой оккупацией находился советский карантинный пункт- лагерь, где все бывшие окруженцы и вообще бойцы под подозрением проходили проверку. Так кого же вели по улице Старокладбищенской? Если принять во внимание лето, жару, подарки «пленным» в виде сушеной фрукты и свежих яблок, а так же благодарность бабушке по-русски, то это бывшие пленные и окруженцы, которых вели в карантинный лагерь… И это еще одно доказательство в пользу того, что такой лагерь в Абинской был. Это, дело же понятное, только предположение, не более того. Разгадать же эту загадку, скорее всего, мы не сможем никогда – свидетели, которым и так мало верили, все вымерли…

А едва закончили с отправкой зерна на фронт, другая страда – куда более трудная! – тут же наступила. Радио доносит тревожные новости, да и без него народ видит: фронт уже приближается… Он уже рядом, где-то под Ростовом, через время другая весть, совсем уже тревожная: немцы катят танками да машинами уже по кубанским дорогам. Надо ведь их остановить!.. И получен приказ: рыть оборонительные сооружения! А кто все это будет теперь делать, если в станицах мужиков: шаром покати – не найдешь… Приказано всем выходить на рытье сооружений. И скоро наша Абинская, ее, как говорят, подступы, как и все другие населенные пункты, уже начала щетиниться, рвами, траншеями, дзотами, окопами, надолбами, огневыми точками… Основная сила – молодые женщины и девчата. Сколько их нежные руки перекидали нашей кубанской земли, пожалуй, нам не скажет никто!.. И не их, девчат и молодиц, вина в том, что многие рвы, надолбы и траншеи так и остались совсем неиспользованными – откуда бойцам да и их командирам было знать, что немцы, нашими воинскими частями крепко удерживаемые на Тамани, в Абинскую войдут, прорываясь прежде всего к Новороссийску, с востока, со стороны Краснодара…

Но это еще впереди, а пока, когда строительство оборонных сооружений западнее и севернее станицы было закончено, и девчат с Кабанивщины отпустили по домам, они, вернувшись «с окопов», уже самостоятельно, как говорят, руководствуясь только здравым смыслом и знаниями, полученными «на окопах», начали, ни с кем не советуясь и ни у кого даже не спрашивая никакого разрешения, укреплять свой последний рубеж, берега своего родного и любимого оврага – начали всюду, где можно, рыть окопы. Они тут, на западной части Абинской, были нарыты везде: и в огороде Литяг, и под сараем, и даже почти у стены дома, Ну, а уж. самые глубокие и удобные окопы были вырыты в берегах оврага, с обеих его сторон, а самый большой – так прямо под мостом через овраг, под дорогой на Новороссийск. Этот окоп рыла женская сила всей юго-западной части Абинской, вся, как ее называли издавна, Кабанивщина.

Наверное, девчатам и молодицам жалко было рыть, отрывая щели, окопы и траншеи на берегах их оврага. Рядом с мостом, по словам Клавдии Васильевны, на улице Шевченко «была большая поляна, на ней рядок травы, рядок – дорожка…» Теперь все это было ими изрыто. Тут же стояла то ли целая зенитная батарея, то ли одна зенитная пушка и одна прожекторная установка. Бойцы следили за небом, каждую ночь шаря по нему в поисках самолета врага, - ведь рядом был мост, охраняемый объект.

Забегая вперед, скажу: за эту работу «на последнем рубеже», за все окопы и щели и в овраге, и возле, девчата Кабанивщины не раз слышали слова благодарности – их окопы сохранили не одну жизнь. Особую свою благодарность выразили – и не раз! – девчатам бойцы-зенитчики: мост ведь бомбили…

На улице стоял август 42-го… Где-то во второй его половине в районе начался массовый угон скота в горы. Сначала шли гурты – угоняли крупный рогатый скот, - прикубанских колхозов, потом погнали – в основном коров – колхозы Абинской. Желающих угонять, кроме старших, назначенных за сохранность стада, было, видимо, мало. А дело это было - и это видели все в станице, - трудным: стояла жара, скот оставался недоенным, часто был агрессивным, взбудораженным – причин для этого было больше, чем достаточно. Когда гнали коров западнее окраины Абинской, измученные доярки стали приглашать молодежь в помощь: помочь гнать, охранять, если стадо взбунтуется и повернет не туда, куда надо гнать, завернуть, подоить, если надо, а это надо было обязательно. Клава все это умела делать и была крайне отзывчивой – она согласилась. Уже много позже она рассказывала:

«А коровы, неважно, взрослые они или это еще всего-навсего телки, они, ну, точно как те станичные девчата. К примеру, хоть те же наши, с Кабанивщины. Обязательно всегда есть или одна, а то и две, что верховодят. Или – хотят. Почему, иногда и не понять, откуда это? То ли она что узнала, интересное, как она думает, для всех, то ли ей платье на днях пошили. Вот уже и гонор. Все, бывало, идут в кино, как и заранее договорились, а тут она, ну, что в новом платье – вдруг! – а пойдем на танцы! И нет, чтобы только сказать, она – идет. А за нею – нередко и другие… Так и коровы, все идут по дороге, впереди – пастух или тот же гонщик, чаще, да что там чаще, всегда – это женщина, знающая, куда надо идти, Справа и слева, чтоб стадо все же не убежало и не задерживалось, подпаски, тоже женщины, часто – те же самые пацанки, подростки. И вдруг та, что в новом платье – так было бы оно, а то ж его и нет! – шасть в сторону! Вода ей где почудилась или травка вкусной показалась, грец ее знает, да так гордо и важно, словно она – вожак… И чуть хоть зазеваешься – ведь уведет стадо, догоняй тогда… А стоит раз подоить – не отойдут от тебя, мычат, просятся… Бодаются даже, вроде бы в шутку, а сильно…».

И в пути делала все: надо было просто гнать – гнала, если часть коров вдруг, напуганная чем-то, норовила убежать – она ее тут же заворачивала, естественно, доила – потом некоторые вообще не отходили от Клавы, видимо, видя в ней свою спасительницу: недоенный скот стервенел, его «накрывала» агрессия, он мычал и даже ревел; у реки, во время водопоя – сторожила вместе с другими, ночью, когда останавливались на отдых, - охраняла. И все было закономерно и понятно: быстрая на ногу, легкая и приветливая, сообразительная Клава чаще других оказывалась, как говорят, в нужное время в нужном месте, раньше других, а главное, и лучше других, выполняла все, что приходилось делать в пути. Пригнав скот в Эриванскую, она немного отдохнула, и вернулась в Абинскую, имея такой наказ: во-первых, поторопить колхозное руководство сформировать последнюю партию скота, и, во-вторых, помочь – видимо, Клава хорошо справилась с обязанностями во время перегона первой партии, - перегнать оставшийся скот в горы.

Хотя Клава, уже подходя с юга к станице Абинской, уже поняла, что немцы уже заняли станицу, она, придя на «их место» в кукурузном поле и встретившись с тремя ребятами - Иван Колычев, Павел Бурун, Владимир Коровин и Клавдия Литяга были не только лишь ровесниками, но и товарищами еще с начала 41-го, если не раньше, - отложив свой рассказ о перегоне скота на потом – интересного было много, рассказать хотелось обо всем, но не-спеша, с подробностями, - она сразу же заговорила о последней партии скота, которую, по мнению Клавы, надо угнать прямо сегодня… Но тут ребята сразу – они же должны были ей помочь! - прямо, как обухом по голове, буквально оглушили девушку, сказав, что это уже невозможно: немцы и румыны уже, как говорят, оприходовали и скот, и ферму. Клава так расстроилась от этого сообщения, что даже передумала рассказывать о приключении в пути, она поняла, что сейчас этому – не время. А потом как-то все позабылось, затянулось, а вскоре – и забылось. Его даже нет и в ее воспоминаниях, в них все просто и кратко: только что она приняла участие в перегоне, а вторую партию – не успела.

А не вернулась она к этому, скорее всего, потому, что ее захватили другие, куда еще более важные события и сообщения. Здесь, на этом поле ВИТИМа, среди высокой кукурузы, а рядом был участок табака – так он даже местами был еще выше, - было тихо и спокойно, сюда и не доносились дальние станичные шумы, почти не слышалась и ближняя, заовражная вроде бы Кабанивщина, что вроде бы если и мешало, так это машины, что то и дело проезжали по дороге на Крымскую. А Павел Бурун под их шум то ли просто сообщал Клаве новости, то ли он, что называется, наставлял ее. Он говорил о том, что в центр станицы и к вокзалу ей не стоит даже показываться: бывает, что хватают так прямо на улице, в основном, молодых людей, за что и зачем – неясно... Но у вокзала стоит товарный вагон, говорят, что пока идет только вербовка в Германию, но скоро, опять-таки говорят, будут и хватать… Он советовал Клаве вообще «не светиться», поступать так, «чтоб тебя меньше видели…»

«Говорят,- добавил, чуть помолчав, Ваня Колычев,- что уже и стреляют. Вернее, так: я уже слышал, как говорили, что одного или застрелили, или расстреляли…» «Может быть,- тоже помолчав, произнес как-то странно Володя Коровин,- может, придется жить и в окопе… Пустишь, Клава?..»

И тут ребята как-то вдруг напряглись и даже подтянулись. Клава сразу это заметила: такая перемена в поведении ребят для нее была впервые. Она поняла: пока она гоняла по узким горным ущельям скот, они узнали, сами увидели и почувствовали что-то такое, чего не знает и пока не понимает она.

…Со стороны центра по улице Шевченко слышался, с каждой минутой усиливаясь, какой-то неясный шум. Он был и странным, и каким-то разным - смешанным. Вроде бы слышался шум мотора идущей машины, слишком громкий… Слышались резкие крики, вроде даже по-немецки… Крики были и по-русски, громкие, мужские и женские… Временами – хотя прошло-то всего-то лишь минут семь-восемь, не больше, ну, десять от силы, - все эти разные шумы и крики прямо-таки заглушал и перекрыл женский плач… Он просто рвал душу девушки.

Она, по существу, еще не успела все, что узнала только что, как-то осмыслить, переварить определиться, как себя вести, когда…

…они, все четверо, услышали почти рядом весь этот шум, крики, плач, что только что они слышали как бы издали, увидели сквозь сохнувшие, шелестящие на слабом ветру листья кукурузы и машину с людьми в кузове, и идущий за нею народ, в основном – женщины, многие – с малыми детьми. Многие из них громко и как-то безутешно плакали – и дети, и взрослые…

Когда машина выехала на мост, раздался резкий и громкий крик, немцы направили на толпу автоматы. Крик повторился, и идущие за ней люди остановились. Плач даже при остановке людей продолжался…

Машина, переехав через мост, повернула налево, проехала метров 20 на юг вдоль оврага и встала, развернувшись задним бортом к оврагу и сдала назад, почти нависнув над оврагом..

Борт откинули. Три немца спрыгнули на берег оврага. Два же других, оставшихся в кузове, стали грубо и резко сталкивать людей – это были одни мужчины! – из кузова в овраг. Каждого падавшего сопровождали один или даже два выстрела….

Клава с ребятами, замерев от ужаса, глядели, как падали люди, слушали, как звучали выстрелы автоматов. Они не видели убитых, но они понимали, чему они свидетели. Из оврага никто не подавал даже признака жизни…

Кровь стыла в жилах. Ребята запомнили на всю жизнь, как вздрагивала Клава при каждом выстреле. А Клава запомнила, что в эти минуты даже кукурузные стебли замерли, они разом перестали шептаться с ветром. И кто-то так сжал пальцами кукурузный стебель, что он, уже засыхающий, пустил сок, и он потек между пальцами…

За мостом стояла онемевшая толпа женщин и детей…

В кузове, наконец, остался один человек. И ребята, и Клава знали его. Это был Илья, дядя Илья Ткаченко или, как всегда говорили в доме Литяг, «наш кум». Он вцепился сначала в кабину, потом, по мере того, как его отбрасывали от того, за что он держался, - уже и за середину борта, затем, когда его, по существу, вытеснили из кузова, - за его край. Он это делал не молча, он кричал и хрипел: «Пан,- хрипел он, - не стреляй!,.». Показывал на своей руке четыре пальца, наверное, намекая на своих четырех малышах, бормотал: - «Киндер!..». Наконец немцам удалось, грубо и жестоко оторвав руки мужчины от борта, буквально выбросить его вниз, в овраг. Хлопнули два или даже три выстрела…

И все смолкло. Люди стояли молча, оцепенев. Потом вдруг сразу, как будто они перед тем сговорились, несколько женщин, подхватив детей, побежали прочь. Другие еще стояли…

Ребята в кукурузе тоже стояли, не проронив ни звука, Молчали, словно онемев и окаменев…

Немцы из кузова бросили кому-то две или три лопаты. Подхватив их, мужчины – их вроде раньше и видно-то не было, ребята, что в кукурузе, во всяком случае, их не видели, - тут же стали, слегка захватив лопатой земли, бросать ее вниз, в овраг. Закапывали наспех, «чуть-чуть земелькой только присыпали», писала через десятилетия Клавдия Васильевна, и ушли или уехали…

Машина уехала раньше, сразу, как только немцы сбросили лопаты.

Как рассосалась или ушла толпа, в кукурузе не видели…

Чуть позже, когда, опомнившись, видимо, народ разошелся, а ребята в зарослях кукурузы чуть пришли в себя и подошли к оврагу, они внизу, там, где произошло это страшное событие, чему они невольно были свидетелями, увидели таблицу, вернее, объявление.

На листе фанеры криво и коряво было написано:

 «Не ходить! Расстрел на месте!»

Как она пришла домой, Клавдия Васильевна , скорее всего, не помнила – в письмах об этом ничего нет. Помнила, что домик ее представлял странную картину: дверь почему-то не закрывалась, стекла в окнах были выбиты, дверь сарая хлопала на ветру. Бабушка сразу же расплакалась: «Корову увели и зарезали на глазах…» В сенях стоял разор, все было перевернуто и что-то рассыпано, что-то разбито, а что так и затоптано. Клава от такого вот вида собственного дома сразу почувствовала дурноту и какой-то страх. Картину довершала растерянная и испуганная мать. Клава ходила по битому стеклу и думала: за что и зачем?

Мать, странно улыбаясь, сказала: «Наверное, их зло взяло, что дом наш – последний, уже дальше идти некуда, брать нечего, хоть что-то они и взяли. А потом – они просто все перевернули и ушли… Хорошо, что не сожгли…»

Но Клава хорошо помнила, что мама, узнав подробности о расстреле, заболела, и она не захотела больше жить в домике у оврага. Через несколько дней, подхватив детей и кое-что из вещей, особенно, на чем спать и в чем согреваться, она ушла во главе семьи сначала на хутор Бережной, потом дальше – на хутор Майорский. Позже выяснилось, что мама тот расстрел, о котором сбивчиво и страстно рассказала ей дочь, видела сама, прямо от своего домика. И, возможно, что и не один. Так что к приходу Клавы домой мать уже точно знала – они уйдут «на хутора». И это было решено не потому, что здесь им предстояла голодная зима после визита немцев. Мать понимала, что там, в чужом хуторе, им будет тоже очень нелегко, даже просто трудно, может быть, и невыносимо. Но она просто уже не могла оставаться дольше на этом страшном месте, как она говорила, была готова «уйти, куда глаза глядят», лишь бы не видеть всего этого…

Думается, что на ее решение уйти повлияли не только грабеж и разбой оккупантов и расстрел мирных жителей, но и отсутствие Клавы – за те несколько дней, что она затратила на угон скота, здоровье мамы сильно пошатнулось. Это был первый удар. Мать ведь не может не переживать за дочь, которая неизвестно где, и неведомо, когда вернется. И вернется ли, вот в чем вопрос? Ведь с оккупацией пришло странное и страшное время, когда все вокруг стало совсем неизвестным и ни в чем нельзя быть уверенным… И как раз в это самое время приходят «гости», которым ты ну совсем не рад. А тут еще и этот расстрел: ладно, еще верить, что это происходит, даже знать об этом, но видеть все это – это уже слишком… А вдруг им, этим «гостям» вздумается вытворять это и впредь, и не редко?.. И наконец, как это у нас говорят, получить «сообщение», которое «уже хуже некуда» - о том, что там, в овраге, теперь находится «и кум Илья»… Он-то, мирный житель, по его состоянию здоровья освобожденный от призыва, инвалид, считай, он-то кому и чем мешал, в чем его вина?.. Какой проступок за ним?.. Он и оружия-то в руках не держал?..

Помнила, причем не так, как, бывает - иногда вспомнишь что-то или сам, или кто-то тебе надоумит или даже потребует, а потом и забудешь, - а всю жизнь, постоянно, Клавдия Васильевна и о том, что, когда немцы уехали от оврага, толпа женщин потихоньку уже разошлась, плача, и все затихло, ближе к вечеру Павлик Бурун смело, не раздумывая и не прячась, не таясь ни от кого – хотя, а кто мог тогда видеть и Павлика, и других ребят так далеко от крайних домов и хаток станицы, - пошел прямо через овраг, спустившись вниз с одной стороны и поднявшись на другую, чуть южнее того места, где были присыпанные землей убитые, сначала через бесконечный пустырь, а затем – по пустым задам огородов, где еще кое-где шуршала сухой широкой листвой неубранная кукуруза, прямо к дому Ильи Ткаченко. Пошел один, а не гуртом, все вместе, как ходят соболезновать горю, а - чтобы рассказать его жене, теперь уже вдове, тете Вере, о том, что произошло там, на берегу оврага, если ей еще не рассказали об этом женщины… Вскоре ушли и все остальные. Они тоже не решились идти оврагом – «Там же ведь люди!..» - сказала, вздрогнув всем телом, Кдава и отпрянула от оврага в кукурузное поле. Хорошо, что оно тянулось почти что до моста, вот они и шмыгнули прямо под мост. Клава вышла из оврага, считай, что у самого дома, а ребята, так, наверное, на Старокладбищенской, а то, может быть, и дальше…

Назавтра, сразу поутру, Клава тоже зайдет к тете Вере: а как же иначе, если ты идешь с пустыми ведрами к церковному – церкви нет уже несколько лет, а имя за колодцем осталось, - как тут не остановиться, не поговорить, пособолезновать – ведь он, дядя Илья, да и вся семья его, не чужие Литягам, кумом же был… Посидели, поплакали…

Судя по тому, что тетя Вера выслушала Павлика вроде бы спокойно и как-то даже тихо, безучастно, без дикого крика – видно, уже и отплакала, и пережила постигшее семью горе, - она о несчастье уже знала. Может быть, она заранее знала о судьбе своего мужа, кто же это знает?..

Помнила Клавдия Васильевна и случай с дочкой Ильи. Наутро младшая из его девочек, Валя, прибежала – огородами, как шел Павлик Бурун, или улицей, кто теперь скажет, не знает ведь никто, - к оврагу, спустилась вниз… Здесь ее-то и увидели соседки. Женщины стали убеждать ее, чтобы ушла, уходила, говорят ей: «Валя, уходи, тебя же расстреляют», а она не слушает, топчется по присыпанных землей – она тогда была мягкой, отошла за ночь, - трупам, видимо, даже и не замечает этого, естественно, не понимая, что она делает, и говорит как-то странно, не по-детски спокойно: «Я папку своего шукаю…Не мешайте…» Еле выпроводили, уже даже гнать стали – боялись за жизнь девочки…

Кто же он, Илья Ткаченко? Кто он и откуда, не знает, пожалуй, никто. Жил он на улице Старокладбищенской, почти на углу с Пролетарской, у приемных родителей. Хозяин дома Антип Ткаченко дал приемному сыну свою фамилию и отчество, по-видимому, паренек знал только, что его зовут Илья. Воспитывался с мальчишеских лет – тогда, после гражданской войны на Кубани было много таких детей, не то вообще сирот, не то просто так, бездомных.

Вырос, влюбился в дочь приемного отца, Веру. Женился, стали, как в сказке говорится, жить – поживать. Клавдия Васильевна писала, что семья была спокойная, жили они в достатке, благополучно: в хозяйстве постоянно держали корову, свинью, а то и две, двор был полон кур. Пошли дети: Рая, Люба, Валя, Коля…

А тут и война. По какой-то неизвестной причине Илья не был призван в армию; может и так быть, что он был уже непризывного возраста, может быть, был непригодный армии по здоровью, может быть, из-за малолетних детей… Кто знает? На Кабанивщине думали так: когда призывают всех подряд, когда вон всех Литяг забрали, других – тоже, а он сидит дома – то значит, у него высокий козырь, значит, он – не боец…

Когда пришли немцы, писала Клавдия Васильевна, его почти сразу «взяли». А потом, как она с ужасом видела, и расстреляли. Местная легенда гласит, что расстрелы в овраге, что западнее Абинской, начались после станичной облавы… Так ли это? Скорее всего, что тот расстрел, что так случайно увидели ребята и Клава, был раньше, до массового. Во-первых, во время этого расстрела были убиты только одни мужчины, вроде бы 20 человек, во-вторых, машина была одна. А после облавы на рынке, как гласила та же легенда, расстреливаемых вывозили машинами. Указывалось даже, что шли они по улице Пролетарской. А машина, которую видели ребята, шла, сопровождаемая толпой женщин, по улице Шевченко…

К сожалению, в станице, когда было начато расследование, никто так и не сказал, а кем же работал Илья Ткаченко до войны и во время ее? Ни слова никогда не проронила об этом и Клавдия Васильевна. Но вот два факта: когда Клава только вернулась с гор, ребята сразу же предупредили ее, куда ходить не следует. Это все говорит о том, что ребята не просто «сидели в кукурузе», а. как говорят сегодня, и владели информацией и обстановкой, знали, где, что и когда происходит в Абинской, и, главное, что можно делать, а что так и не следует. Это кажется более чем странным: воспоминания совсем немногих очевидцев говорят о том, что в первые дни оккупации режим в станице был довольно вольный – в станичном кинотеатре шло кино, организовывались танцы, устанавливались вроде приятельские отношения. По крайней мере, так вроде было первые несколько дней. Почему тогда у ребят – и что самое важное: от кого они получены? - такие сведения, призывающие всех, мягко говоря, быть очень осторожными?.. Кто им это внушил?.. Причем, так, что они не только о себе подумали, но и Клаву предупредили?.. Это один факт. Факт второй: через время после расстрела, на дом к вдове Ильи Ткаченко, выждав время, идет Павел Бурун – чтобы рассказать ей об этом трагическом случае или, скорее, исходе. Идет, хотя он прекрасно понимал – он видел все это из кукурузы - что в толпе, идущей с плачем и криками за машиной, было несколько женщин и «с Кабанивщины», т.е. соседок Веры Ткаченко, и они – как все говорят, не они будут, если не расскажут вдове обо всем - с подробностями… А подробности были, как вы помните, мягко говоря, не очень геройские. Интересно, не потому ли Вера, как писала потом Клавдия Васильевна, так сухо и спокойно встретила Павла Буруна с его рассказом?.

И тем не менее, он идет. Значит, он идет не для того, чтобы известить вдову о постигшем ее семью несчастье – она об этом уже знает, - а совсем с другой целью. Он шел сказать, а, может быть, даже и спросить, кому теперь, после смерти Ильи, передавать полученные - выспрошенные или взятые визуально, путем наблюдения, - сведения?.. Что мне позволяет так говорить? А, пожалуй, вот что... Много лет спустя абинский краевед Иван Ашека как-то, упомянув о том, что Ольга Маслова – это одна из тех, чей труп уже в марте 1943 года, после освобождения Абинской от немецко-фашистсеой оккупации, был опознан, - во время оккупации в Абинской имела свою группу информаторов, как бы между делом, он отметил, что такую же группу еще имел и И. А. Ткаченко… Там же было сказано, что в станице Абинской существует группа подростков 12 человек, которые вредят врагу везде и всегда. Рвут и режут, к примеру, телефонную связь… Такое вот довольно странное совпадение!.. И понадобилось время, чтобы местные поисковики идентифицировали носителей одной фамилии: Илья Ткаченко и Илья Антипович Ткаченко… И им стало ясно, что это – одно и то же лицо.

Сопоставляя все это вместе, можно предположить, что Илья Ткаченко в 1942 году был оставлен в станице Абинской тайным агентом, своего рода подпольщиком – пока что для сбора сведений, необходимых партизанам. А, может быть, и для других, более серьезных дел.

Об этом говорит тот факт, что Клавдия Васильевна очень сожалела о том, что очень рано умерли, «что нет в живых Колычева Ивана, Буруна Павлика, Коровина Володи… Но в свидетелях остались три дочери Ткаченко Ильи – Рая, Люба, Валя», писала она…

Увы, их спросить тоже не выйдет – поздно. Они тоже умерли.

Когда сегодня идешь вдоль оврага – а идти можно только со стороны сначала мимо треста «Абинскрайгаз», затем – мимо школы-интената, затем, повернув за угол, - мимо авто-ремонтной мастерской, а, еще раз повернув за угол, мимо предприятия «Газовик»; с юго-восточной стороны е оврагу вообще и близко не подойдешь, - то невольно видишь, как он за истекшие годы – это сколько же их то ли пролетело, то ли протекло! – как все говорят, в корне изменился: зарос деревьями и кустарником, просто непролазным по густоте, а чуть отойди от оврага – буйной, неубираемой травой вперемешку с сорняками…

И хранит тайну или даже тайны!.. Молча, не говоря о них никому. Попробуй узнать здесь что-нибудь, век будешь ходить – не узнаешь, не услышишь, не увидишь, не почуешь… А, наверное, не один Илья Ткаченко здесь просил не стрелять, упирался и показывал на пальцах, сколько сирот оставалось после его смерти… Молчит.

Может быть, потому, что тогда он был другим: чистым, безлесым. Ни деревья, ни трава – помните, тут кукуруза и табак были в рост человека, на земле ВИТИМа все хорошо росло! – а теперешние деревья и кусты – их тогда просто и не было! – этих стонов и криков и не слышали… И был он потом, уже к освобождению, изрыт лопатами, весь был как бы в ступеньках – может быть, для того, чтобы мы, земляки расстрелянных, сюда рано или поздно все-таки пришли, а, может быть, просто потому, что так лопатой брали землю – лишь бы присыпать, лишь бы видно не было…

Когда сюда приходит человек, знающий, что здесь произошло в 42-43 годах – а бывают ведь и другие, не знающие, не ведающие, тем – проще; так вот такой человек, как говорят, знающий, – уже чувствует, только лишь подойдя к оврагу, а как это происходит, иногда и не понять, тут, как говорят, все индивидуально, хотя он об этом злодеянии долго вообще ничего и не знал – не ведал, а потом где-то то ли прочел, то ли услышал, возможно, даже, как говорят, и не специально, а так, между делом, случайно, все равно он обязательно, но проникается и внутренне, а иногда так и внешне, - он, знаете, напрягается… И потом уже чувство это: то ли вины, то ли беды какой, то ли, к сожалению, обычного равнодушия и полного безразличия - его уже и не покидает… А представьте себе, что чувствовала, каково жилось на белом свете Клавдии Васильевне всю жизнь после того, как она, 16-летняя девочка Клава все это еще сентябрьским, а, возможно, даже и августовским днем 1942 года увидела?..

А ведь она тогда увидела перед казнью, которая происходила здесь удивительно буднично, как бы между делом, просто, как смахнуть пыль со стола или выбросить что лишнее из дома, не просто русского, абинского человека, а близкого ей, почти родственника – он ведь был, скорее всего, крестным отцом кого-то из ее братьев… Как ей жилось после этого?.. Все годы?.. Ведь она видела Илью в предсмертные, последние минуты его жизни, слышала его голос, видела его падающим вниз, в овраг, где его жизнь тут же оборвали две, а то и три пули… Не в бою, не в сражении… Как?..

Больше расстрелов Клавдия Васильевна не видела. Через некоторое время мать, выправив документ, все-таки увела своих детей далеко и от оврага, и от стрельбы, сначала вроде лишь на хутор Бережной, а потом, как она говорила, «куда бог пошлет» - оказалось, что на хутор Майорский. Назад, домой они вернутся уж поздней зимой, можно даже сказать, с началом весны. Придут озябшие, измученные, голодные и даже больные. И дом у оврага, их родной дом, примет их, как своих, родных…

Дети не узнают свой дом. И хоть еще в августе – сентябре сначала при визите немцев, а потом при бомбежках и обстрелах, при стрельбе румынских пушек, что стояли рядом, он потерял все окна – вместо них он смотрел на мир подушками и платками, - и даже свою гордость – дымарь, т.е. трубу над домом, они его не узнали.. Они помнили его, как это говорят, еще молодым, после строительства, свежевыбеленный, под новой крышей, со всеми светлыми окнами и красивыми дверями. Теперь он был совсем иным: ему досталось… Он даже чуть-чуть вроде покосился, дверь не закрывалась, ее надо было всякий раз подпирать. Крыша его напоминала стог или копну сена, которую нерадивый хозяин дергал со всех сторон, то там, то тут в ней зияли большие дыры и пустоты… Рядом почти со стеной из земли торчал низенький пенек, чуть дальше – еще один. А раньше, и Клава это помнила, тут были деревья, плодовые, вроде яблоня и груша. Но дом, слава богу, стоял. Куда хуже было, как говорят, внутри. Не было ни стола, ни шкафов, они увидели всего два табурета, а осенью было их – полный дом. Весь пол был застлан соломой, ее было так уж много, что дети, войдя в дом, чуть не потонули в ней. Она была даже под кроватями…

На немой вопрос матери и Клавы бабушка, потупя глаза, тихо сказала: «Обогреваемся… В печку пошли и стол, и стулья… И деревья – видели вон, пеньки только и остались, - и даже крыша, так, местами…»

Дом принял детей, пришедших домой. Но он и не пустовал, как, а такое вполне возможно, подумали вы, узнав о том, что он полон соломы. В доме было полно и людей, как писала Клавдия Васильевна, 16 детей и семеро взрослых. Одним словом если, то, «это были три семьи, которые были изгнаны из своих домов и которым негде было жить, ютились в нем…» Спали все на полу, в соломе. Они потеснились, приняв хозяев, и мать Клавы, сразу бросив в угол узел, что таскала с собой, вздохнула и сказала: «Здесь тесновато, но я больше никуда не пойду, здесь, в Абинской, буду жить и погибать…»

Жизнь «на хуторах» вспоминать не хотелось – хорошего там было очень мало. Если же сначала вроде и жилье нашлось, с трудом, но все же размесились, и с едой было полегче – она была, как говорят, хоть какая-никакая, но зато ее перепадало каждый день, - то зато уже потом вдруг немцы повели себя так, словно озверели, даже вроде бы прямо обезумели. Однажды, а был уже конец февраля 1943 года, они откуда-то пришли через речку Абин, человек сорок – грязные, в маскхалатах, в касках, с автоматами наперевес, злые, как те черти… Они врывались в каждый дом и с громкой руганью, с криками: «Рус, вэк! Шнель, шнель!..» - стали выбрасывать всех, кто ни попадался им под руку. Выгоняли и пришлых, таких, как семья Литяг, и даже местных, тех, кто прожил здесь, в хуторе Майорском, всю свою жизнь… Если слова не помогали, а они, естественно, не помогали – ведь каждый выгоняемый норовил что-то и с собой взять из одежды, обуться, а матери – так и узелок с чем-то. Поэтому все буквально вылетали из дверей – кого немцы выбросили за шиворот, кого – пинком под зад, а кого – и прикладом. Все это сопровождалось такими громкими женскими криками и визгом, таким плачем и ревом малых детей – испуганных, с дрожью в теле, замерзающих и голодных, что, будь здесь бабушка Клавы, она обязательно бы сказала так: «Хоть святых выноси…» И обязательно бы перекрестилась, и не раз… На маме Клавы, как говорят, «лица не было». Всех согнали в толпу и погнали эту воющую, кричащую кучу людей: стариков, старушек, много растрепанных женщин, а больше всего детей самого разного возраста – прочь от хутора, в сторону железной дороги Краснодар – Новороссийск. Гнали всех прямо по раскисшему полю, вспахано оно было или нет, неизвестно, но было настолько грязным и, как говорят, вязким, что нога любого человека – не важно, взрослый ты или старик или старуха, а хуже всего, если ты – ребенок, - так затягивалась в жидкую грязь , что можно было и не вытянуть ее оттуда… А если и вытянуть, то уже - без обуви. И задержаться, «достать» застрявший или даже и утопленный сапог или ботинок – не идти же тебе дальше босиком ! – некогда. да и немец не даст, вот он, сзади, торопит, кричит: «Рус, шнель, вэк-вэк!.. Шнель-шнель…» Этот приказ или даже вопль как бы словно повис в воздухе, звучит и звучит… Гонит и гонит… И кто-то из маленьких детей уже не просто идет, а, спотыкаясь, бежит, падает… Видя это, старшие подхватывают уставших, несут – кто под мышкой, кто – просто закинув на плечо. И темп ходьбы, уже вроде и бега даже, никак не снижается, хоть уже и у взрослых ноги подкашиваются… Глядеть на эту ношу нет сил: ведь многие уже и без обуви – торчат детские ножки, босые, посиневшие от холода… А немцы, знай себе, покрикивают: «Шнель=шнель!.. Вэк, русс, вэк!..» Кричат, а изредка, так еще и из автомата вдруг начинают стрелять… Хорошо, что пока поверх голов – никто не упал… Пугают..Перед леском немцы вроде бы отстали. Бегущие, задыхаясь, ловя ртами сырой воздух, сипло дыша, и обливаясь, несмотря на то, что, как говорят, на улице стоит февраль, липким потом, остановились, попытались перевести дух… Какой там дух, дети, разгоряченные, потные, вдруг заныли, заголосили – стали мерзнуть на ветру. Старшие же принялись запахивать их, укутывать, кое-кто – даже переобувать… И заворачивать ноги у тех, кто обувь «подарил» полю, какими-то тряпками, рвать на это то платок теплый, то и что другое… И тут – новая напасть: со стороны хутора к ним скакали румыны. Они, уже совсем приблизившись, сначала вдруг заорали о том, чтоб люди не останавливались, и стали женщин и детей теснить лошадьми, а потом, тоже вдруг, стали отбирать у теток их узелки… Тетки закричали: «к ним хорошо относились, а они…» Румыны, пошумев и забрав добрую половину узлов, уехали…

Тут и лес приблизился. В нем ветра вроде бы и не было, всем вдруг показалось так тепло, что многие решили в лесу переночевать… Особенно хуторяне Майорского, видно, они не хотели далеко от дома уходить – все ведь видели, что немцы не сегодня-завтра уже начнут отступать. Кто решил остаться, начал устраивать ночлег, умащиваться потеплей. В числе других семья Литяг решила идти дальше. И люди, едва опомнившись, наконец, и переводя тяжелое, с сипом, дыхание, не теряя времени, подались сначала к железной дороге, затем, выйдя к путям, разбрелись кто куда: одни в сторону Крымской, мама Клавы со всей своей семьей – после ночевки в дорожном домике или просто в будке, - подались по шпалам к себе домой, в Абинскую. Когда уже переночевали в будке, вдруг увидели всех тех, что ночевали в лесу. Некоторые были вроде сумасшедших – кричали, рвали на себе волосы, норовили броситься под проходящий поезд. Особенно безумствовала одна: она, кроме уже сказанного, билась головой о стену будки, падала на землю и рыла ее руками, сипела: «Как же мне теперь жить?..» Ее было в горе не узнать. Чуть позже Клава узнает: это была их хозяйка на хуторе. Оказалось, что ее дети - один пяти лет, другой еще поменьше, - той ночью замерзли в лесу…

Такое вот воспоминание…

Не успели отдышаться да найти каждый себе уголок в, считай, пустом доме, как вдруг выяснилось: а дома-то – не лучше!.. С «углом» кое-как все-таки определились, «хозяева» чуть подвинулись, пришедшие – втиснулись… Кто-то из старших детей еще и пошутил: «Теснее будет теплее…» Только приткнулись, как-то прижились, как вдруг выяснилось: а есть дома вообще-то нечего!.. Хоть это было известно еще осенью – ведь из-за отсутствия продуктов и «на хутора» подались, - сейчас это известие бабушки – а откуда ей, еде, было у нее взяться? – как-то неприятно огорчило пришедших.

Семья как бы даже и забыла, что главной причиной бегства «на хутора» была для нее не такая уж нужда; хотя голод в зиму ее, конечно, пугал, но куда более страшным казалось само место – овраг, где тогда расстреливали мирных абинчан, дом, который стоял так близко от этой самой абинской голгофы, - это гнало семью Литяг, как говорила мама, «уйти куда глаза глядят, лишь бы не видеть этого…» Теперь же, возможно, из-за страшного изгнания всех людей немцами, а потом и румынами из хутора Майорского, во время которого погибли дети в лесу - хорошо, что мама Литяга никого в тот день не потеряла, никто не заболел, что ей тогда казалось просто-таки невозможным: такая погода, такой бег, утеря обуви, взмыленность – и хоть бы кто кашлянул! - а, возможно, и потому, что прошло некоторое время, и уже затянулись душевные раны, а семья, вдобавок ко всему, еще и увидела, что и другие места на Кубани тоже не лучше и не спокойнее, чем их родное место… А потому самой главной проблемой в семье и стало отсутствие еды. Об остальных не думалось, знали, что как-то ведь они жили… Хотя все знали и другое: думать придется – родня ведь…

Выручили – румыны. Они мобилизовали маму Клавы, проверив ее документ, в румынский лазарет. И это было хорошо. Во-первых, это куда лучше, чем каждое утро ходить на рытье окопов вдоль речки Абин. Но это и не главное. Главное, думалось, то, что в лазарете, там, возле раненых, можно и самой перекусить, и домой, детям, что-нибудь в кармане унести, если мама постарается… А что она постарается, в этом они не сомневались. Хоть бы самым младшим, думалось, чтоб не потерять!.. Отец ведь, уходя на фронт – и это слышали все! – просил жену детей сберечь..

Клава, было, когда пришла домой и успокоилась – хотя, а как это, и возможно ли вообще успокоиться? – побеспокоилась о своих друзьях-товарищах, захотела узнать, где Павлик, Ваня, Володя? Что с ними?..

Когда вся семья по шпалам – Клаве это было и привычно, и даже приятно: вспомнились походы к папе в «лагеря», от чего стало, несмотря на февраль, ей даже теплей, - вошла, что называется, в Абинскую и миновала развалины вареньеварочного завода, Клава между развалинами завода и побитым осколками зданием станции Абинская увидела товарный вагон-теплушку. Он был в дырках от пуль и осколков снарядов или бомб и стоял как-то сиротливо, один-одинешенек.

Клава взглянула на него с ужасом. Она – помнила!.. Когда она только что вернулась с гор, Павел Бурун, говоря о том, куда ей не стоит ходить и чего не надо делать, запретил ходить и на железнодорожный вокзал. «Там вагон стоит, - говорил Бурун. – Это как мышеловка… Немцы в него приманивают таких вот, как мы. И отправляют в Германию…». «Сначала просто заманивали, зазывали ехать. А когда таких в Абинской не оказалось, - добавил Ваня, живущий недалеко от железной дороги, - тогда стали просто хватать…».

Ей повезло: она, Клава, старалась никуда не отлучаться от дома и оврага, она даже в центр станицы ни разу не ходила, но она видела – и не раз! – как прибегали девчонки постарше, иногда по одной, а иногда и по двое-трое, по оврагу к мосту на улице Шевченко – там они еще до оккупации вырыли, и Клава была одной из заводил этого, - глухой, очень темный и просторный окоп, прямо под мостом. Немцы, по словам Клавдии Васильевны, о нем и не знали. И там иногда ночь, а иногда и сутки, даже больше, спасались и парни, и девушки… Заходили, как правило, по ночам, чтобы их поменьше видели. Но были случаи, когда кто забегал по оврагу и днем – он же был глубоким. Как вспоминают абинчане, тот овраг был примерно три метра, что в ширину, что на глубину

Встретиться очень хотелось; во-первых, было что рассказать о том, как их гнали по полю, как чуть ли не волоком тащили мамы и они, старшие, своих малых, теряя вещи, детали одежды, обувь, а кто, так и детей… Просто очень хотелось поделиться. А, во-вторых, ее просто-напросто поразил вид вареньеварочного – она до войны, да и в войну, до оккупации, ведь работала на подсобном, на «ягодном», часто бывала на заводе, считала его своим, - и ей был страшен его вид: весь в развалинах, одни стены кое-где стояли, а рядом – совершенно искореженные товарные вагоны и даже вроде паровоз на боку.

И везде воронки от бомб – огромные, порою (хоть за зиму вроде и осыпались немного) до семи, а то и десяти метров. Завода ей было очень жаль, она знала, несмотря на свой малый рост и возраст, очень многих рабочих, начальство, что приглашало ее на работу, правда, говорило: «Когда, Клава, подрастешь, приходи…».

От родни – они, придя в Абинскую, зашли «на минуту», попить воды на подворье деда Мирона, как же миновать любимого дедушку? - они узнали, что многие заводские люди погибли еще при подготовке завода к эвакуации, вроде бы его хотели везти в Сочи, а тут налет, бомбежка, родные говорили, что даже сам директор завода Цыбин погиб при том налете…

Обо всем хотелось Клаве поговорить с парнями, Но их не было даже слышно…

Она подумала даже – не угнали ли их немцы в Германию. «Меня так предупреждали, - подумала она, - а сами вдруг не убереглись?..». Но потом решила: не могли же всех сразу? Потом, позже, она узнала, что они порой где-то скрываются, порой – появляются, но ненадолго…

Зато прямо-таки «нагрянули», хоть их и не ждали, другие «знакомые» - полицаи, которые прямо с порога заявили: Клаве, как вернувшейся в станицу на жительство, надо каждый день выходить на рытье окопов, по берегу речки. «Ты, - сказали девушке полицаи, - есть лицо мобилизованное…». Уклониться было невозможно – каждое утро к ним приходил немецкий солдат, стучал и ждал, пока ты не соберешься и не уйдешь с ним.

Рыть окопы было привычным делом для всех, кто там был, но, понятно, подневольным. И этим все сказано, особенно, когда ты маленького роста. К тому же не было обуви, ботинки, те, что были испорчены на поле, когда их гнали из хутора Майорского, давно уже «дышат на ладан», каждое утро надо было найти, чем подвязать оторвавшуюся подошву; чулок, дело понятное, не было – откуда, если все, что можно было забрать, немцы унесли еще осенью, хорошо, что была старая солдатская обмотка: откуда она взялась в доме, Клава даже и не помнила, - она была двойная, из нее-то Клава и делала себе чулок… А вечером, когда на реке за день лопатой намашешься, придешь домой или промокшая, или пропотевшая, а дом-то холодный – постоянно или не было дров, или топить не разрешали, - поэтому так все на тебе и высыхает. «Уставший, придешь домой, притулишься в свой уголок, раздвинув всех других, и засыпаешь, - писала Клавдия Васильевна. - Иногда и не поужинав, не потому, что устал и уснул, а потому, что есть нечего…».

В такие темные вечера – бабушка лампу жечь не разрешала: керосина не было, - когда Клава согревалась собственным дыханием и духом старой соломы, ее всегда одолевали воспоминания. Они посещали ее, как только Клава начинала согреваться, и теснились в ее голове, считай, до той поры, пока она не забывалась в тревожном сне. Она снова и снова гнала в горы партию колхозного скота, бежала по горам и полянам, заворачивая куда надо отбившихся коров. Доила их, часто обмычавшихся. Она видела - сколько бы раз не ходила к колодцу за водой, - как росло, занимая всю церковную площадь, румынское кладбище, слышала унылый голос румынского священника, отпевавшего павших воинов, которых почему-то хоронили в братских могилах… Она, хоть, помня наказ Павлика Буруна ходить, как можно, поменьше и вообще не светиться, где не надо, вроде бы так никуда и не ходила, но видела, как, особенно в первые дни, немцы ходили и ездили на машинах: все загорелые, на вид такие уж добродушные, в коротких шортах - почти как в трусах, ха-ха! – рукава рубашек закатаны до локтя, у рта у очень многих – губная гармошка, при встрече – обязательная улыбка, а в руках – протянутая для подарка плитка шоколада или конфета. И улыбка – всегда… И помнила, как они сразу менялись в лице, когда заходили в чей-то дом и видели в шкафу или на вешалке одежду, а на столе или в кладовке – молоко, яйца, сало или сливочное масло… Словно в доме и на улице это были, ну, совершенно разные люди…Тут уж никаких вам улыбок - сразу схватить, вытащить, что-то спрятать в карман или повесить на шею, а то даже и накинуть на себя, а продукт – выпить, будь это молоко или яйца, а сало так забрать с собой… Она видела, помнила, словно это было вчера, никак не раньше, как она с тремя другими девушками была направлена в дом дяди Мити, чтобы подготовить его для постоя немецкого офицера. Дом, как мы помним – об этом рассказывала в одном из своих писем мне Клавдия Васильевна, - был новым, даже не совсем достроенным. Вот он, как говорят, и «глянулся» офицеру. Вы, может быть, заинтересуетесь, спросите, а где же была жена дяди Мити, тетя Таня?.. А в соседней, через улицу, хатке, куда ее прогнали из своего дома немцы…

Девушки вешали на окна занавески, в зале под потолком, большую электрическую лампу – а во дворе солдаты «ладили» движок, тянули провода, - немецкий офицер ведь не мог же жить без электричества и телефона, а, может, и без радио!.. – работали, стоя на столах. В какой-то момент Клава заметила, как немец – наверно, денщик, подумала она, - принес в кухню и поставил на полку корзину, полную яиц. Подумав про своего братца Володю, она вдруг соскочила со стола, сунула три яйца в карман платья, решив, что трех-то яиц в полной-то корзине вряд ли кто и заметит, а вот братцу будет подарок – у них в доме немцы-то давно уже все выгребли, а кур – переловили и съели… «Удачно так получилось»,- подумала, было, Клава, вновь залезая на стол, и тут произошел неприятный конфуз – одно из яиц в кармане платья внезапно лопнуло. И – потекло по ногам Клавы…

Именно в этот момент в зал вошел немец. Он увидел это и закричал страшным голосом: «Дезинтерея!.. Вэк!.. Вэк!..». Клава пулей слетела со стола, выбежала на улицу и побежала домой, что было совсем рядом, стараясь сберечь оставшиеся яйца целыми… Сберегла.

Многое из пережитого вспоминалось в эти минуты Клаве, пока тяжкий сон не овладевал ее уставшим, измученным телом. Разное, бывало, ей приходило на память в эти тяжкие ночи, особенно на голодный желудок. Иногда до головной боли… Вспоминались, бывало, и те бравые бойцы, что громко пели и обещали: «Не печальтесь, бабоньки!.. Мы их скоро погромим, разобъем и домой вернемся…». «И где же вы, родненькие? – думалось в такие минуты Клаве, - сколько же вас ждать?.. Уже ведь семь месяцев стонем под немцем… Уже и всего набоялись, и все набегались… Уже нам ни есть нечего, ни носить, ни что под себя подстелить, ни накрыться… В хате ведь шаром покати – ни за что не зацепишься… Где же вы, спасители наши?..».

А иногда, как ужас, вспоминались и другие бойцы – то ли пленные, то ли так захваченные, - те, что шли от железной дороги: голые, босые и голодные. Прямо голова кругом… А еще вспоминалась песня тех бравых, подтянутых красноармейцев: «Идет война народная, священная война…», и Клава начинала уже понимать смысл слова «народная», вспоминая при этом и задышливый, торопливый угон скота, и пугливое, казалось, что оно прями-таки с остановкой ее сердца, получение повестки о призыве отца - она словно бы сразу же, тут же теряла его, - и бег по бесконечному пахотному полю под дулами автоматов немцев, и замерзших в лесу детей, а иногда у нее как бы искрой вдруг возникала страшная мысль: «А ведь мне сказали только про двух малышей, что замерзли в том лесу… А вдруг их там осталось куда больше?.. Ведь когда бежали, детей было куда больше, чем тех же самых взрослых… Что, и все замерзли?.. Если бы это был наш Володя, я бы не выдержала бы, умерла… Или - свихнулась бы…». Она слышала звон разбитого оконного стекла – она знала, что окна в их доме были разбиты еще в августе, а сейчас они все были заткнуты подушками, - но она слышала и не могла понять, лопнуло оно от взрыва недальней упавшей бомбы или – от злого удара прикладом вражеского солдата… И не понимала: засыпает она или она уже бредит… И редкий- редкий был случай, когда Клава засыпала, не вспомнив дядю Илью Ткаченко с его хрипом: «Пан, не стреляй!..». Редко, когда она, как в немом кино, засыпала, не увидев его, падающего в овраг… Медленно, немо и неостановимо… Иногда ей казалось, что она и не заснет, пока он не пролетит, раскинув руки, вниз… Или – вверх, сразу же в свое бессмертие…

А утром опять, только встанешь, а немец уже тут как тут: «Шнель-шнель!.. На окоп…».

Хлебнешь воды, если есть в ведре, за лопату – и «шнель-шнель»… Иногда услышишь, как бабушка бормочет, крестясь: «И де моя дорогая коровка…Зьилы, идолы прокляти… Сейчас тебе молочка бы…». Порой что и ответишь бабушке, а порой так и промолчишь: то некогда – немец торопит, а иногда – и сил уже нет…

С коровкой бабушки, еще осенью, произошла такая история. Бабушка прятала ее в сарае. Умное животное, стоя в закутке, считай, в темноте, в ночи, молчало все время, как будто оно все понимало, что подай ты голос, замычи, и тебя сразу же сведут на бойню. А тут стучат в дверь: освободить помещение, запретная зона… Если бы бабушку кто-либо предупредил заранее, можно бы ночью коровку и перевести через улицу Шевченко – бабушка жила то ли рядом с тетей Таней, женой дяди Мити, то ли даже вместе, - может быть, никто бы и не заметил, кто знает?.. Так кто же знал, что так будет? И как тут быть? Что предпринять?..

И надо же так: нашелся советчик, полицай знакомый. Почти что сосед, добрый такой да заботливый. Он и говорит: «Пропадет ведь твоя корова, отнимут… А вы, бабушка Мария, вы ее зарежьте. Мясо в бочку, соломкой укройте и перевозите туда, где жить будете. Вот и у вас будет порядок. Как говорят, дешево и сердито. А то ведь заберут… Еще благодарить меня потом будете!»

Возможно, он даже и забить-то коровку помог, кто его знает? Теперь-то кто о том скажет? В общем, зарезали скотину. Бабушка даже плакала. А корова так даже и не мукнула…

Только разделали все – помощников много, семья-то большая. Что в бочку не вошло, то в дровяном штабеле запрятали. Шкуру куда-то, как мама говорила, заныкали. В общем, как говорят, управились…

А тут и румыны, как говорят, прямо к обеду. И откуда они взялись, «грец бы их побрал», как говорили раньше в Абинской. «Надо, говорят, проверить, нет ли у вас сена…». Смотрели и в печь, и в духовку, и в сарай, дрова все разворошили… Ну, и нашли, натурально, все: и то мясо, что в кадушку спрятали, и то, что в дровах… Даже требуху и шкуру…

Все забрали, подчистую. А когда они берут – хоть румыны вроде и странные – они даже и не грабили, они просто брали, - у них на дороге не стой: оттолкнут так, что могут ведь и покалечить. Молча…

Вот уже и весна вроде, март уже на улице, идет к концу, а она все еще вспоминает о своей коровке… У нас ведь тоже была… А что вспоминать? Все равно не вернешь… Хорошо, хоть полицая бабушка уже не вспоминает. А раньше – так обязательно. Она, я так думаю, все время думала, что это ей полицай подстроил, специально. А что, может, так оно все и было… Кто теперь что скажет? Да и кому это надо?..».

И вот дождались, немцы вроде начали отступать. Уже неделю – так женщины на окопах говорили, - как освободили Ахтырскую. Вечерами оттуда радио работает… Клава и все братья пытаются послушать. Выйдут из дома, чтобы лучше было слышно – немцы сразу загоняют. Кричат, как на пожаре: «Партизан!» и заталкивают прямо в дом. Кто-то посоветовал стакан к стене прислонять. Тоже лучше и не слушать: один услышал одно, другой – совсем другое. И, главное, каждому – и даже самому малому! – так хочется самому, через стакан, услышать. Потом дня два бои шли, как потом те же женщины говорили, прямо на окраине Абинской. А потом все стихло… Вечерами были обстрелы, снаряды рвались, заставляя всех думать с ужасом: попадет или пролетит мимо. Уже немец по утрам не приходит с окриком: «На окоп!.. Шнель-шнель!..». Начали срывать рельсы узкоколейки и увозить. Мост, что был, считай, что рядом, на Старокладбищенской, так рванули, что домик у оврага вздрогнул, и не понять: то ли это он от старости, то ли от страха. В окно не посмотреть – подушками заткнуто. Но и так слышно: телеги тарахтят по уличной дороге, видно, спешат, спешат все за мост, тот, что на Шевченко, на Крымскую который…

А тут вдруг стрельба орудийная началась, да так громко, вроде палят рядом; выглянули, рискуя, в приоткрытую дверь, а там… «Батюшки родные, да что же это?..» - не то прошептала, не то простонала мама. Вдоль дороги, считай, рядом с их домом, стоят пушки – от узкоколейки до самого моста, вокруг орудий румыны суетятся, кричат… Стволы на Краснодар наставлены. И палят – то одно, а то - и другое… То, опять, одно, то – другое. Прямо без остановки… «Дом так прямо трясется от этой их стрельбы. А вдруг те, из Ахтырки, ответят?..», - писала потом Клавдия Васильевна…

Все население дома лежит в соломе, считай, без движения. Хоть и знают – говорили так: как начнется стрельба, надо дверь открыть, чтобы стекла не вылетели… Выйди кто, так каждый боится: немцы злые вокруг, как черти, пристрелят еще… Румыны – на что люди вроде спокойные, - тоже звереют на глазах. Днем один так замахнулся на младшенького, что аж душа Клавы ушла в пятки…

Кто-то из женщин бормочет: «Какая разница, где погибать, где тебя разорвет снаряд или бомба накроет…». Другой голос вроде противоречит: «Не скажи, погибнуть сейчас нам просто обидно, столько терпели, что пережили… Терпите…». Лежат, и то ли молятся, то ли просто бормочут: «Спаси нас, господи…». А дети – вслед за взрослыми…

Слышно, как уже и рвутся снаряды – видимо, ахтырские пушкари отвечают. Подростки держат дверь, чтоб не открылась: стекол в окнах еще с осени нет. Гриша держит входную, он – мужчина, а Клава – ту, что в другую комнату… Гриша то ли случайно, то ли устал – встал на колени. И в это же мгновение ахнул снаряд где- то рядом, будто сразу за стеной. Осколок пробил подушку в окне, вжикнул рядом с лицом Клавы, всего-то на ладонь сбоку, и воткнулся в икону Николая Угодника – тоже мимо лица, в рамку. Слышала ли Клава звук, с которым «гость» влетел в комнату, кто знает?.. Взрослые как закричали, а за ними – и дети… А что их так испугало, поди, узнай? Скорее всего, все вместе… Клавдия Васильевна писала потом, что она хранила эту икону, ту самую, которую она когда-то принесла домой из разрушенной церкви на Старокладбищенской. Она даже ходила после войны в церковь, рассказала священнику – об этом она написала в одном из писем, - как все было, и о том, что она хотела бы заменить рамку. Священник сказал, что не надо, что «как есть, так пусть и будет…».

Кто-то вдруг вспомнил, что под мостом на Шевченко есть окоп, куда не раз прятались люди. Раньше, когда забирали юношей и подростков – юноши, а потом, когда уже стали забирать в Германию и девушек, и молодиц – и они. Иногда набивалось и помногу. А вот вспомнили об этом после осколка, влетевшего в дом, когда услышали, как немцы долбят дорогу – мама еще сказала: «Никак мины хотят ставить, неужели взорвут мост?.. – вот тут кто-то и сказал: «А вдруг там и сейчас кто прячется – погибнут же, когда рванет!..».

Видно, осколок всех расшевелил, заставил даже думать… Так бывает.

Пошла Клава – она была маленькой, могла незаметно пройти (сама же его копала), лучше других знала и тот окоп, и дорожку к нему. Окоп был пустой, в нем никого, видимо, давно не было. Стояла странная тишина. Только что-то гукало наверху, на мосту. Клава, чуточку подождав, даже шепнула – тихонько, что бы там, наверху, не услышали… Тихо, пусто… только рвутся снаряды…

Вернулась, проскользнув овражком, неслышно, словно ящерка, Клава. Свернувшись клубочком, забилась в солому. При каждом взрыве, даже и дальнем, домик вздрагивал и каждый раз тяжело, как старик, вздыхал даже…

Клавдия Васильевна потом, уже через десятилетия, писала о том, что она часто спорила с Гришей Павленко – «он был коммунист, а я – нет, - о том, кто нас спас в войну: я говорила - бог, а он говорил: бога нет!.. Какие бомбы и снаряды рвались вокруг нашего дома, а он – стоял. Стены насквозь осколками пробиты, а домик стоит. И мы – живы. Это чудо, счастье наше. Ну просто чудо, что мы остались живы…».

Что тут сказать? Может, оно и так. А только мне почему-то думается, что лично Клаве все тяготы оккупации, голод и холод, постоянный страх быть арестованной, убитой, умереть на рытье окопов, ужас расстрела дяди Ильи помогла пережить жажда не сдаться, победить и дождаться встречи с советскими бойцами… Тому порукой являются все письма – а их было не два и не три, - Клавдии Васильевны, а за письмами – и вся ее жизнь…

Она не была партизанкой – не взрывала поезда, мосты там и воинские склады, не была она и подпольщицей – не добывала сведения о врагах, передвижениях и местах их скопления, как, возможно, делали ее товарищи Бурун, Колычев и Коровин, ей документы на выезд «на хутора» доставал кто-то… Она была в группе только раз, когда угоняла колхозный скот в горы, отогнала первую партию, а вторую - не успела, немцы заняли Абинскую, о чем она сожалела и никогда не скрывала… Но она боролась – и тогда, когда она рыла оборонные окопы для наших бойцов, а вокруг дома, в овраге – и для себя и своих соседей, и тогда, когда тащила малышей по полю, гонимая немцами, и тогда, когда видела упавшего в овраг Илью Ткаченко, и даже тогда, когда работала на немцев, стараясь выжить… И – победить.

Иногда в эту ночь были моменты тишины – и не рвались снаряды, и затихли румынские пушки, и вообще вроде и не стреляли. Только тарахтели и скрипели телеги да слышались гортанные, злые голоса… И люди, даже в закрытом, вроде бы и в наглухо, доме каким-то нутром уже чувствовали: отступают… В доме было тихо. Все уже – наверное, что даже и самые маленькие, - понимали: теперь главное – выжить…

Маленькие тихонько поскуливали – кто знает, во сне это было или от голода, - старшие парни, кого спрятали в солому поглубже, сопели – не поймешь, спят они или притаились, взрослые чутко лежали или полусидели, потихоньку или, читая молитву, или просто так бормотали: «Спаси нас, спаси, господи, спаси нас, господи…».

Тарахтели телеги, издалека слышалась румынская речь…

И вдруг дверь рванули, кто-то открыл ее снаружи. И сразу же вошла группа немцев. Посветили фонариком. Увидели лежащих людей…

Что им с темноты показалось в доме, никто не скажет. Но один вдруг диким, безобразным голосом закричал: «Партизан!.. Партизан!..». Лязгнули затворы…

Женщины заголосили. Малыши зашевелились. Ближе всех к двери оказалась бабушка Мария. Она, не вставая, упала на колени, протянула руки к немцу: «Пан, не стреляй… Это же дети маленькие, они голодные, есть просят… Не стреляй, пан!.. Прошу тебя…».

Никто не может сказать, что могло произойти дальше… Жизнь всех в доме, по существу, уже висела на волоске…

«Выручила, - как потом напишет Клавдия Васильевна, - нас всех наша «Катюша»..». Именно в этот миг со стороны Ахтырской, а, может быть, и ближе, ударила «Катюша». О том, что это было, люди догадаются – кто узнает, кто – даже лично увидит, но – потом. А пока с визгом и скрежетом что-то летело над домом, словно касаясь крыши, и рвалось, казалось, сразу за мостом. Грохот, треск, визг…

Первыми, как говорят, «очухались» немцы. Погасив фонарик и громко завопив: «Капут!.. Капут!..», - они пулей выскочили из дома и, как говорят, исчезли, словно испарились. Они знали, что произошло. Все случилось так неожиданно и стремительно, что никто в доме и не понял, что это… Только через время чей-то голос испуганно попросил: «Кто там ближе, двери надо закрыть бы…».

И стало тихо-тихо… Словно все или слушали, или даже уже умерли со страха… Так было тихо.

Клавдия Васильевна хорошо помнила, что в эту ночь она не спала, хоть ей очень хотелось. Не спала и мама. Остальные лежали молча, кто знает, может быть, и взрослые – а их было человек 7-8, - от пережитого, от молитв и заклинаний: «Спаси нас, господи…» тоже все уснули, как, точно, спали маленькие.

Вдруг, уже ближе к рассвету - где-то часа в три, может, больше, может, меньше, кто же теперь скажет, да и так ли это важно? – стало слышно, как кто-то топает у дома под окном с подушкой… И какой-то грохот вдали… Потом стали стучать… «Кто там?» – спросила мама. «Есть кто живой в доме? – спросили за стеной. – Откройте!..». «Может, вы немцы, переоделись и снова вернулись? – спросила мама. – Они нас тут только что насмерть перепугали…» «Нет-нет, мамаша!.. Мы русские, мы – танкисты, мы вас освободили! Открывайте!..»

Первым вскочил Гриша Павленко. Он вскочил и сразу же распахнул дверь. В дом вошли бойцы. Они были в черных комбинезонах и в шапках-шлемах. Они улыбались. Мама заплакала на груди одного из них.

Весь дом проснулся. При свете фонаря, что был в руках одного из танкистов, им предстала странная, фантастическая картина. Вся комната, вернее, вся солома в комнате – а это была зала, самая большая комната! – стала как бы вставать: дети мал-мала меньше, взрослые женщины, а откуда-то из соломы, как бы из подземелья, высовывались большие ребята… И все это «общежитие», облепленное соломой, тянулось к бойцам, обнимало их, целовало и плакало, припадая то к одному, то к другому, то к третьему, размазывая по лицам слезы

Клава в своем уголке - маленькая, худенькая, закутанная в шаль,- от всех переживаний так устала и ослабела, что сразу, как тот же Гриша, и подняться не могла… Растерялась.

 А дети, наплакавшись, наобнимавшись с бойцами, а кто, не доставая до рук и лиц, обняв их за ноги, чуть ли не целуя сапоги, вдруг разом, громко и требовательно – и все! – закричали, что они хотят есть… Бойцы начали им совать, что у них в карманах было – откуда оно и сколько дней там было, неизвестно, - сухари, пряники, кусочки сахара…А руки детей-то тянутся, тянутся, глазенки смотрят ожидающе… Один, раздав все, сунув руку в свой карман и не найдя ничего, не растерялся, схватил с плиты стоявшую там пустую кастрюльку и бросился за дверь. Он знал, куда бежать и знал – за чем, но он не знал главного: где можно ходить, а где – и не надо… За стеной ахнул взрыв мины…

В минуту опасности раньше других опомнилась и вскочила Клава. Правда, помочь она бойцу ничем не смогла. Вернувшийся боец, тот, что сразу же бросился вслед, сказал тут же окаменевшей Клаве, что его товарищ погиб, наступив на мину. И на сердце девушки, надо полагать, появился еще один шрам… Забыла она в дальнейшей суете об этой гибели или нет, не скажет никто… Скорее всего, нет – она была впечатлительной и ранимой.

Почти сразу же за взрывом в доме появился и старшина со своим же вопросом: «Кто стрелял? Кто что взорвал?.. А вы – это он бойцам, - что тут делаете?..» – на что те все объяснили, главное, быстро и доходчиво: «Это мы их освободили!.. А они голодные!.. Вот Иванов и бросился к нашей кухне за супом… И не разминулся с миной…». Старшина распорядился тело бойца похоронить, а всем остальным – не мешать хозяевам, освободить помещение. Мама Клавы тут же сказала старшине, что немцы, скорее всего, - она сама все слышала, - заминировали мост. Старшина принял это к сведению, велел одному из тех, что вошли первыми, доложить капитану, и все как-то разом быстренько вышли, оставив гражданское население приходить в себя.

 Кто-то из бойцов все же принес ребятне поесть, и они успокоились, а, поев, потом даже и вздремнули. Чего не скажешь о Клаве… Она, встав, сразу же принялась наводить порядок в доме: убирала и почти убрала солому, принесла воды из колодца, поставила стол и два стула, что еще не сгорели в печи, металась туда-сюда, ее руки все время искали, чтобы еще такое нужное сделать. За суетой она как-то и не заметила, что бойцы покормили и женщин. Так в домик у оврага пришло освобождение.

Это были странные, радостные и чем-то грустные, но незабываемые дни – первые дни после оккупации. Люди впервые за долгие месяцы громко разговаривали, смеялись и плакали – иногда и одновременно, - жили как-то открыто, не таясь и не опасаясь. Соседи сразу же встречались со своими соседями, родные – с родными, знакомые – с незнакомыми… А еще рядом были юные – по 17-18 лет, не больше! – танкисты. И прежде всего, те двое – третий так неожиданно погиб на мине, - что постучали, а потом и вошли в дом. Их звали: одного Леней, другого Степаном; они, как рассказали сами парни, оба были с Украины. Узнав об этом, бабушка Мария сразу же сказала, что старики семьи Литяга – дед Савва и дед Мирон – тоже украинцы, они – родные братья, с Черниговщины. «Родня!..» - весело сказали танкисты и уже через час перенесли свои вещмешки в дом у оврага. Видно, не зря Клава прибирала залу, освобождала ее от соломы и хлама.

«Общежитие» к этому часу уже освободило дом, все побежали смотреть свои дома и хатки и обживать их после румын и немцев. Так что все в доме произошло наилучшим образом. Кинув свои мешки и повесив, куда было можно, шинели и бушлаты, танкисты повели Клаву посмотреть их танк. К удивлению Клавы, он был не один; машин стояло почти вдоль всей улицы Старокладбищенской больше десятка. И возле каждой машины – три, а то и четыре бойца.

«Откуда вы взялись? – удивилась Клава. – Вас что, в поезде привезли?.. И столько сразу?»

Танкисты, а пришедших из дома ребят и Клаву, сейчас же окружили другие, послышался смех, кто-то пропел частушку. «Нет, что ты! Какой там поезд? - воскликнул один. – Ты глянь, на что наши танки похожи?..». Клава глянула и ахнула: все машины были почти «до головы» заляпаны грязью, кое-где из колес и гусениц торчали клочья камыша. «Мы по плавням, как говорят, плыли, прямо, как корабли… Лейтенант говорил, мы шли через Мингрельскую какую-то, называл хутор Красный… Мы – напрямик!..».

«Вот это да!.. – подумала Клава и сразу же засомневалась: «Говорят про Мингрельскую, про хутор Красный, привирают, наверное! – она, когда была в Майорском, про Красный слыхала, но чтобы там шли танки?.. В это она, если честно, не верила. Пока пришедшая родня не подтвердила, что, да, действительно, эти танки ночью, уже ближе к утру, прибыли с севера, от вокзала. Там у них даже бой был, говорят, с потерями – лейтенант вроде был убит… А на вокзал они попали вроде, так родня говорила, перемахнув рельсы железной дороги, аж из-за «Кизилпрома»... А откуда они оказались тут, на вокзале, родня не знала, «Что, они нам, что-то говорили, что ли? – удивился даже дед Мирон. – Пришли, и слава богу!.. Главное, наши… Советские… Свои… - он немного подумал. – Я так мыслю, что пришли они с этого, как его, Бережного, оттуда… С хуторов, плавнями… Военная хитрость…».

Танковая часть, стоя на Старокладбищенской – много места заняла! – что севернее, что южнее улицы Шевченко, перед дальнейшим наступлением приводила технику и оружие в надлежащий вид и порядок, принимала пополнение, учила бойцов настоящему, боевому мастерству, мужеству и отваге… А они, надо отдать им должное, многие, а особенно те двое, что с Украины, больше того хотели бы быть рядом с маленькой, улыбчивой Клавой и ее смешливыми подружками, прямо посреди смеха вдруг впадающими в какую-то непонятную танкистам грусть и печаль. Иногда, правда, рассказывали, откуда она, эта печаль, и танкисты узнавали, как многих знакомых местных девчат угнали далеко-далеко, в неведомую Германию, в «неметчину», как зло говорили старики и пожилые женщины.. Вокруг Клавы они просто вились. Идет она на бывший церковный двор к колодцу по воду – за ней два, а то и четыре парня. И крышку на срубе колодца откроют, и воду в ведре из колодца воротом «вытянут», и домой донесут. Каждый – по ведру, расхлюпав почти полведра. Клаве, хохочущей над их проделками, оставалось разве что перелить воду из церковного ведра в свое, и то не всегда ей это удавалось, да нести в руках «пустое» коромысло, опять-таки, тоже даже и не всегда…

Хлопцы, заметив, что мама Клавы нашла где-то у соседа лопату и собралась копать свой огород, отобрали ее у женщины и сами вскопали несколько грядок, а позже, когда уже бабушка Мария вдруг вздумала принести из ручья воды, чтобы полить посеянное, сделали это сами, весело и быстро. Родня, зная, что у Литяг у оврага все хозяйство разворовано немцами и румынами еще осенью, что там, как говорят, шаром покати, принесла немного семян разных, соседи кое-чем подмогли – так что помощь бойцов была в самый раз…

От Клавы бойцы просто не отходили. Другие, а Леня и Степан, так те, считай, ну каждую свою свободную минуту, разговаривая, проводили с нею…

Огород вскопать, воды принести – это им было по силам, они, видимо, были сельскими хлопцами. А вот гитару починить? Как я уже говорил, семья Клавы была музыкальной; деды играли, дядья… Была гитара и у Клавы. Была… Потому что однажды, еще ранней осенью – когда точно и за что, Клава уже и не помнила, - немцы вдруг сперва на ней все струны порвали, а потом и гитару, считай, разбили. Оставалось бросить ее в печь. Но ее почему-то сберегла бабушка Мария – кто скажет, что остановило руку старушки, ведь уже совсем она, было, собиралась бросить в огонь изломанную вещь, но не стала этого делать, - и гитара уцелела даже в зимние холода. Так вот Леня с Украины не только починил - он перетянул струны, добавив новые вместо порванных, - но и научил ее заново петь…А с тем заодно – и Клаву. Настоящим волшебником оказался Леня с Украины!.. А Степан, тот, что с Черниговщины – он не иначе кровь родную почуял, узнав, что деды Клавы, считай, его земляки, - совсем «прикипел» к Клаве, смешливой и улыбчивой девушке, он так уж «прикипел» - «привязался», что показал ей даже танк внутри. «Я залезла, - писала уже, считай, в другом веке, вспоминая то время, Клавдия Васильевна, - а там все чистое, белое, сиденье такое мягкое. Я сказала, как здесь хорошо!..». На что ей танкист Степа сразу же ответил, что ему это не нравится. И пояснил, почему: оказывается, все это, красивое на вид и приятное на ощупь, хорошо и быстро горит…

…Это было в третий или даже в четвертый день освобождения Абинской. Когда, к оврагу, наконец, как считала Клава, приехали какие-то начальники, военные в папахах – да все на машинах, под охраной… Все ходили по берегу оврага, какие-то совсем ей незнакомые дядьки и тетки им что-то показывали, рассказывали, объясняли… Весь овраг прощупали на слух минеры, чтоб, не дай бог, никто не взорвался. Наконец, кто-то вызвал человек 30 бойцов с лопатами. Они спустились вниз – так началось само «вскрытие» оврага. Клавдия Васильевна помнила, как она тогда, прямо-таки прорвавшись сквозь охрану к какому-то полковнику, показала, где надо начинать копать. Она помнила, как «папаха», еще как-то вроде недоверчиво посмотрев на маленькую Клаву, переспросила: «Здесь?», на что только что подошедший Павел Бурун – и когда он подошел, и откуда взялся, Клава на радостях и не узнала, а лишь обрадовалась так, что схватила Павлика за руку, - как-то неожиданно, баском сказал: «Да, это здесь!.. Мы это видели… - он чуть помедлил и закончил: - вчетвером!..» И он показал сначала на Клаву и на себя, а затем, поведя рукой в сторону, и на стоящих чуть-чуть в стороне Колычева и Коровина.

«Начинайте!.. – приказал начальник, судя по всему, военный. Бойцы начали прыгать в овраг, на что Клава – она помнила это всю жизнь, - вскрикнула: «Осторожнее, там же люди!», сразу же спохватившись, что сказала не то, покраснела, застеснялась и отошла в сторону, увлекая и Павла, поближе к Ване и Володе. И там, наконец-то встретившись, они торопливо и дружно, радуясь, что все живы и здоровы, крепко обнялись, прижавшись друг к другу. Они, это видно было, за оккупацию повзрослели и, что особенно радовало, - они были живы! А когда они разорвали кольцо и отпустили руки, то сразу же увидели у оврага нечто странное и довольно страшное… К оврагу со стороны улицы Шевченко бежали люди, в основном – женщины. Охрана попыталась их задержать, но – тщетно… Одни, пытаясь прорваться, лезли с криками: «Мой где-то здесь!.. И мой тут!.. Пустите меня к нему!.. Дайте глаза закрыть!.. На кого же ты нас бросил?.. Хочу тебя хоть похоронить!.. Мне бы только взглянуть на него!..», а некоторые кричали так и без слов; причем задние, торопясь, напирали на ближних, пока те не начали кто сползать, а кто так прямо и прыгать вниз, прямо на лопаты бойцов… А некоторые так бросились в овраг прямо у моста и, тоже крича, бежали, толкаясь друг с другом, кого так даже и отпихивая, роняя на землю и чуть ли не топча ногами, к тому месту, что указали Клава и Павел… А со стороны всей улицы Старокладбищенской и даже откуда-то с юга торопились новые люди, спеша и плача.

Над оврагом стоял людской вой. Некоторые женщины то ли в сутолоке, то ли ненароком, потеряли платки, простоволосые, растрепанные, они топтались прямо по раскопке, ища каждая своего мужа, сына, дочку – родного человека… Никто никому и не думал уступить место, пропустить вперед или просто остановиться. И все искали – можно ли было кого-либо упрекнуть за это, - своих…Было такое впечатление, что здесь все сейчас «помешались». Представители власти и военные командиры – сплошь все в папахах, - как-то жалко и тихо стояли в сторонке, их женщины просто отодвинули, чтобы они не мешали. А на бойцов, что работали в овраге лопатами, даже покрикивали, торопя, и отнимали лопаты. И все понимали: людей несет горе, и, все, кто тут был, каждый кого-то потерял. И вот тут началось то, что потом назовут «опознанием». А как?.. Ладно, Клава вот опознала Илью по пиджаку, так она же видела его на Илье в день расстрела и видела точно место, куда он упал. И Вера, она сползла в овраг как раз у того места, где его раскопали, так ей же и Павел еще тогда сказал, где это, и сейчас Клава крикнула… А как быть другим?.. Ваня Колычев тоже узнал труп Ивана Сытника – из его родных у оврага – никого, так он-то узнал почти соседа, они жили недалеко друг от друга, а потом, на трупе был сюртук железнодорожный, по нему и узнал, а самое главное, оказывается, Ваня его видел и во время расстрела, из кукурузы… А так сейчас вдруг да и узнать – это было невозможно! Одежда, как только ее откопали, сразу, в момент, вся рассыпается прямо на глазах. И остается голый труп, даже и не труп, а скелет: голова, то бишь череп и, ну, и, как их, руки, ноги… И все они, все одинаковые!.. Хорошо – хотя, что же тут хорошего? – если у человека не было ноги, или там, руки, опять же, уже есть отличие, можно и найти… А если у него все было на месте, тогда как?.. Видеть это было сверх сил Клавы. Она вдруг поймала себя на мысли совсем о другом! Клава вдруг стала вспоминать: «А когда же это я тогда пришла в Абинскую из Эриванской, где сдавала скот?.. Тогда был еще август или уже сентябрь?..» Хоть ты убей, ничего не вспоминалось… «Не было календаря! – вдруг мелькнула у нее спасительная мысль, но она ее тут же оттолкнула: - Какой в лесу календарь, нашла еще о чем говорить!..». И она вспомнила то, что еще тогда ее очень тревожило: она, сдав скот, еще должна была прийти в Абинскую и увести еще одну партию скота, ребята должны были охранять ее в кукурузе до Клавиного прихода… Но немцы, войдя в Абинскую, все успели испортить… Ребята тогда еще - Клава это помнила, - сказали, что немцы постреляли стадо. «А какой же день тогда был, какой, главное, месяц, число какое, когда они все тогда в кукурузе встретились?..» - думала Клава. Когда она вновь и вновь начинала вспоминать, когда это было, у нее вдруг начинала кружиться голова, хотелось упасть… А потом сразу в глазах у нее потемнело, ее голова вдруг сильно-сильно закружилась, ей стало не то тошно, не то просто дурно, и она чуть не упала. Упала бы, если бы ребята не подхватили и не увели домой. А дома ее уже окружили вниманием постояльцы – Леня и Степан. Они уложили ее на койку, сделали ей компресс, дали воды попить, потом - чаю, успокоили…

Когда Клава, как говорят, пришла в себя и смогла говорить, она сама рассказала танкистам, где она была и что видела. А заодно, чтобы не было неясностей, и о своих друзьях-товарищах, что привели ее домой. Танкисты были потрясены услышанным. У них, оказывается, были занятия, и они ничего не знали, только лишь слышали крики. А командиры им сказали, что там много начальства, в том числе и высокого, и будет правильно, если они, танкисты, там и не покажутся. Другое дело, сказали ребята, пойти в кино – на углу улиц Красно-Зеленых и Пролетарской сегодня и потом каждый вечер будет работать кинопередвижка. «Пойдем?.. Мы тебя приглашаем!» – предложили танкисты и были крайне огорчены тем, что Клава сегодня просто была не в состоянии идти с ними в кино.

А рассказ Клавы был прост; она рассказала им о том, как они с парнями случайно увидели расстрел 20 мужчин из Абинской, среди которых был и кум семьи Клавы. Танкисты в тот вечер, после рассказа Клавы, тоже не пошли в кино; вечером втроем они тихо посидели за чаем, послушали в чудесном исполнении Лени хорошую песню, известную до войны по кинофильму. Клавдия Васильевна, спустя годы и годы, уже и не помнила название того фильма, а вот песню из него – так даже наизусть! А ведь и правда, хорошая песня была: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, паренек девушку хочет украсть…». Песня та была про жизнь – все в ней и понятно, и просто. Ведь чего там говорить, что Леня, что Степа – и это было у них ясно и четко написано на лицах! – очень хотели если не украсть Клаву, то хоть бы увести ее на берег оврага, что один, что другой; наверное, того же хотела и Клава – ей ведь тоже было уже 17 лет, - «Но только,- как она сказала, - не на берег оврага…- Клава помолчала. - Овраг был раньше для нас любимым местом, отдыха, игр и даже – свиданий… Да, и свиданий!.. Но теперь для меня овраг – это кладбище, братская могила… Простите меня, ребята… Я знаю: вы очень хорошие парни… Но сегодня я не могу…- она вновь помолчала. - Не могу идти куда бы то ни было… Извините…»

На другой день, сходив за компанию с Клавой к колодцу за водой и почистив свои сапоги, танкисты собрались пойти к оврагу, посмотреть, как там и, главное, что? Они были еще очень-очень молоды, воевали не так и давно, хоть и знали цену жизни на войне, но вот расстрельных ям они еще не видели. Когда троица подошла к мосту, к ней пристроилась - присоединилась еще одна – наши старые знакомые Павел, Иван и Владимир. Вчера все они, приведя домой Клаву, только лишь кивнули танкистам, сегодня уже, они, как старые добрые друзья, поздоровались по-мужски, за руку. «Парни! – сказал танкистам Павел. – Надеюсь, вы не собираетесь нашу Клаву увезти с собой на броне танка?..». «А почему бы и нет? – быстро спросил в свою очередь Леня, - если она не против?..». «Да я так, для разговора, - сказал Павел, - Вольному ведь воля, сами знаете. Просто я хочу сказать, что она, Клава-то наша, войны уже хлебнула… По-моему, даже сверх нормы!..»

«Да, мы видим это, - сказал примирительно Степан. – Не бойтесь, мы ее не обидим…»

Когда пришли к оврагу, там уже стояло группками довольно много бойцов. Были не одни только танкисты. Леня метнулся к знакомым ребятам, узнал что-то, поделился новостью. «Скоро тут будет митинг!.. – сказал он своим спутникам.

Стояли молча, думая каждый о своем. Танкисты, да, наверное, и все остальные бойцы и их командиры, хоть и видевшие многое, таким, что они увидели только сейчас, были очень и потрясены, и подавлены. Расстреляны мирные люди – этому мы всегда будем не только что удивляться, но, прежде всего, - негодовать… Бойцы молчали. Но молчала и Клава, вот что было главным. А она была просто потрясена, она многого не понимала… Она, всегда спокойная, сегодня, здесь, у оврага, - ужаснулась! И ужаснулась от другого: она думала, что тут их расстреляно 20 – она же видела! – но никак не больше… А раскопки в овраге были и на повороте, и дальше – в степь… «Да сколько же их здесь убито?.. – эта мысль буквально пронизала мозг девушки. – Он что же, до самой Гусевой балки?.. И всюду лежат люди?..». Она шла, держа под руку то Павла Буруна, то, перехватывая вдруг, Степана, то и дело вдруг спотыкаясь – хотя вроде и не обо что, - видела вскрытый овраг, скелеты, и от всего этого у нее то и дело темнело в глазах, то и дело она начинала терять сознание… Клава чувствовала, как у нее, как и вчера, начинает кружиться голова… А тут еще и эта тетка, здоровая, про которую смело можно сказать, кровь с молоком - с амбарной книгой и карандашиком в наманикюренных пальцах… «А одета-то! – почему-то с негодованием подумала Клава о ней. – Как прямо из магазина… Хоть бы трупов, скелетов несчастных постеснялась!..». Тетка, видно, вела учет погибших. К ней то один мужик подошел, а то и другой – докладывают, сколько скелетов они насчитали.

Кто считает, кто ищет своего, кто-то уже нашел… Как и вчера, только уже без толкотни, воя и беготни – женщины собирают останки: череп, руки, ноги, ребра, - кто в мешок, кто – в ящик, А кто так и в картонную коробку, одну из тех, что немцы бросили. И уносят, как и вчера, – неизвестно, куда… Говорят, тут кладбище рядом. «Это так, - тихо думает, чуть-чуть вроде бы успокаиваясь, Клава, она знает: по улице Старокладбищенской, севернее дома деда Мирона, чуть в стороне, есть кладбище. – Наверное, туда…».

Над оврагом уже не слышится, как было вчера, воя. Но и тишины – тоже нет. В воздухе стоит какой-то плач – не плач, а вроде как песня в церкви, но почему-то на одной – как сказал бы музыкант, вроде деда Саввы или дяди Мити, - на одной ноте… «Какой-то очень долгий, просто бесконечный звук, от которого можно сойти с ума…- думает Клава и тут же задается вопросом. – Интересно, это все слышат или это уже у меня в голове?..».

И тут до нее доносится голос – взволнованный, быстрый, - женщина рассказывает, как по улице Пролетарской шли автомашины, где в кузовах были люди – мужчины, женщины, и их было, тех машин, несколько… А кто-то еще говорит, что приводили и даже пеших, и все люди сидели на берегу, ждали, когда придет их очередь быть расстрелянными…

И у Клавы, как вчера да уже и сегодня, опять начинает кружиться голова и мутнеет в глазах… Но она крепится, может, даже из последних сил, она не может уйти… Она слушает…

«Представляете! – почти кричит кто-то, - Когда они сидели и ждали, никто из них ведь не закричал даже!.. Никто не побежал!.. Сидели и ждали… Даже и не разговаривали… Надо же так…»

А в овраге шла своя жизнь. Кто-то, так и не найдя своего, просит еще копнуть глубже или в сторону – а вдруг?.. Кто-то просит помочь. Бойцы охотно помогают. Но в основном стоят, некоторые так строго, как бы даже по стойке «смирно» - запоминают…

Уже вроде овраг и раскопан весь, кое-где так и глубже копали и даже разравнивали. Все! Вот и лопаты уже сдают. И уже называют цифру, от которой можно сойти с ума…273 человека! Вернее, столько останков нашли в овраге. От этой дикой цифры кружится голова, Клава хватается за руку Павла, а другой – за Степана. Ей плохо. Но она держится. Состояние Клавы можно понять. Она не только видела расстрел 20 мужчин, она думала, что их столько и будет найдено. И вдруг в овраге – в ее милом, родном овраге, - найдено почти 300 трупов…Почти 300! Кто они?.. Как их звали?.. 273 – это же надо!.. Это было трудно вынести и осознать даже взрослым мужикам, а каково было сердцу Клавы, девочке в 17 лет? Такое трудное даже только для произношения число, 273, которое, ну никак, нельзя соединить со страшным словом «смерть», заклинивало разум и подавляло волю. Оно не давало ей думать о чем-то другом, оно – угнетало. И Клаву уже не могли расшевелить ни ее довоенные местные друзья, ни только что веселые танкисты, ни даже новые знакомства с пока еще незнакомыми ей парнями. Одним словом, всем было не до веселья. Ребята уже хотели, было, увести Клаву домой, уложить ее в постель, но она уперлась – вот-вот здесь, у оврага, должен был начаться митинг. Это она не забыла, помнила…

 Тут как раз, как будто все и ждали этого момента, подъезжают машины – и военные, и так, гражданские. Выходят разные люди – сытые – это видно даже издалека, - хорошо одетые, все, считай, в папахах – начальство. Стоят отдельно, на берегу, группой. Зазвучала музыка, потом кто-то громко сказал: «Раз! Раз! Рааз!». Потом кто-то уже другой предложил всем людям подойти поближе…

И начались речи. Клавдия Васильевна запомнила, естественно, не все слова, но хорошо она запомнила слово «злодеяние», оно было произнесено, и не раз. И каждый человек требовал его запомнить. Клава еще подумала, она из школы помнила: «деяние» – это что-то большое, громкое, значительное… «А какое тут было деяние? – подумала она. – Тут был расстрел… И, как это видно, не один… Тут стреляли. Да, это было громко, даже на самой улице Старокладбищенской, а то и далее, было слышно, люди потом рассказывали. А тут люди падали – молча!.. Только за борт машины хватались, это я сама хорошо видела…».

А речи звучали, говорившие сменяли друг друга, их громкие голоса, казалось Клаве, били по голове… «Как пули, что ли?..» – подумала она.. И у нее начинала опять болеть голова…

Был момент, когда то ли потому, что ораторы повторяли друг друга, то ли еще почему, Клаве вдруг послышалась песня Лени: «Крутится, вертится над головой…и кто-то в овраг хочет упасть…». Клава испугалась, она даже оглянулась, не смеются ли над нею танкисты и абинские друзья… «Неясно, заметили ли ребята, что я уже «тронулась?..» - подумала она. И она крепче вцепилась в рукава друзей, чтобы ненароком не упасть.

А речи продолжались… Через пять, может быть, и десять минут – кто же их там считал? - Клава пришла в себя, и у нее начала вырабатываться главная мысль: памятник… Об этом говорили, считай, все. «Это нельзя забыть, нельзя простить»… «Что, кому, когда?..» – опять подумала Клава, - а ораторы продолжали: «память надо беречь и сохранять», «люди должны знать, что здесь произошло нечто страшное - убивали мирных, невоенных, невооруженных людей»… «Здесь нужен памятник!..» - Клава, естественно, не помнила, кто сказал эту фразу, но запомнила ее, как наказ…

В дом у оврага пришли после митинга с Клавой все: и танкисты, и свои, местные. Долго почему - то все молчали. Потом разговорились. Видимо, все осознали, чему они были свидетелями.

«Нам не сегодня-завтра в бой, - сказал задиристо Леня. – Мы будем бить врага так!..». «Что от него клочья полетят!» – мрачно закончил фразу Степан. «Я бы прямо хоть сейчас пошел бы в армию», - сказал, явно завидуя военным Иван Колычев. «Я бы – тоже, - вздохнув, заметил Павел Бурун. – Да вот не берут… Говорят: мал – я уже узнавал…». «Самое интересное, что мне сказали? – откликнулся, как- то тихо улыбнувшись, Владимир Коровин. – Говорят, у меня нет веса, с которым в армию берут!.. И, скорее всего, и вовсе не будет, так врач сказал. Мало ел…».

Ребята посмеялись. Но как-то несмело и не очень весело.

А вечером, когда уже все разошлись, Степан, выбрав минутку, когда Леня ушел зачем-то в расположение роты, молча протянул Клаве листок бумаги с написанным на нем текстом.

«Что это?..» – спросила Клава. «Это мой адрес, на Черниговщине, - пояснил Степа. – Если ты узнаешь, а ты обязательно узнаешь, что со мною случилось что-то плохое, ну, если я, это, погибну, напиши по этому адресу: так, мол, и так…».

Клава, чуть растерявшись, бросилась к нему. «Степа, милый, ну, о чем ты говоришь?.. – и она даже вдруг поцеловала его. – И думать перестань!.. Ты еще и медаль получишь… Степа!..». «Ты все же листок возьми, - тихо сказал Степан. – Нам предстоят бои. И прятаться в них от врага мы с Леней, понимаешь, не будем… Возьми, чтобы я был спокоен».

Видно, «запала» в душу парню кубанская девушка, еще, считай, пока девчушка, раз в такой вот трудный для всех жизненный момент, как раньше говорили, момент откровения, он дал ей свой адрес и наказ – так, на всякий случай. По существу, Степа, как люди тогда говорили, сам «открылся» перед Клавой, признался, вручив ей свой адрес, что для него никого дороже нет. Потом, считай, через полвека, а то и больше, Клавдия Васильевна, вспоминая «своих танкистов», писала: «Ребята не собирались умирать, они жили мечтой о будущей, мирной жизни, рассуждали о том, как кончится война, какая у них будет новая форма, какие ботинки, они надеялись, что все у них будет хорошо. Я не раз об этом все их разговоры слышала…». Они, понятное дело, знали: война есть война, на ней воюют, бывает, что могут и ранить, и даже убить, Но кто же об этом только и думает? Кто знает, возможно, Степан думал как раз о другом, совсем о другом… О том, как после боев и победы – а они уже знали, что победа будет, они уже гнали немцев прочь с Кубани, вопрос только в том, когда она придет? – Клава напишет ему в его лесное село Озеряны Черниговской области, да с обязательной припиской: «Жду ответа, как соловей лета», модной в те годы… И, может быть, им снова захочется, уже после войны, встретиться – «Такие дни ведь никогда не забываются»,- думал, возможно, танкист, - и он пригласит свою Клаву в свой лесной край, на Черниговщину, а, может быть, и сам приедет сюда, в Абинскую. «Станица большая, люди приветливые, только вот разрушена сильно. Но тогда, после победы, людей будет много, свободных рук – так «навалом», отстроим…».

Понятное дело, мы никогда уже не узнаем, что думал, сидя в доме Клавы, юный танкист Степа Колесник…

И тут вошел Леня. Он пришел с хорошим известием: именно сегодня, оказывается, кинопередвижка на бригаде колхоза «Красные таманцы» показывает кинокомедию «Аршин- мал-Алан». Клава чуток «поупиралась» – день был для нее чересчур тяжелый, просто невыносимый, - потом, как это говорят, смягчилась, посмотрев на кислые лица танкистов, и, махнув рукой, с улыбкой согласилась пойти в кино. Парни – это надо было видеть! – сразу расцвели… И они – пошли.

Экран во дворе на углу улиц имени Красно-Зеленых и Пролетарской, растянутый между двух деревьев, был просто огромный – из двух простыней. Сидели – вперемежку бойцы и гражданские, в основном молодежь, - кто где и на чем нашел. Сначала, под нескончаемые едкие комментарии зрителей, посмотрели журнал. На экране собаки с лицами Гитлера, Гебельса, Геринга и других фашистских главарей долго за что-то грызлись, даже кусали друг друга за самые интересные места, пока бравый усатый солдат не смахнул метлой их с экрана. Это было и смешно, и противно.

А потом весь «зал», то бишь бригадный двор, больше часа, без отдыха, не переставая, до слез хохотал и рукоплескал разным проделкам экранного пройдохи, хитрого и умного. Смеялись, даже когда расходились по домам.

А ночью – дождь, да, главное, не перед утром, как обычно, чтоб травку промыть, а чуть ли не с вечера – многие, кому далеко идти, так после кино на бригаде еще и домой не дошли, бежать пришлось по темным улицам, чтобы не промокнуть. А те, кто поближе, те, дело понятное, добежали, а кое-кому так и бежать не пришлось, эти, как говорят, так и долго прощались – в кино-то все молодые были, старики не пошли… Кто долго прощался: девчата за зиму под немцами, в оккупации, отвыкли, может быть, и забыли, как это делается, не спешили, а парни, да, считай, все военные, в погонах, чего раньше не было, а некоторые – так и в ремнях командирских, так те всегда готовы и не спешить. А кто так и проститься, как следует, не успел – дождь разогнал, А Клаве со своими танкистами так и прощаться не надо – они в ее доме, как уже было сказано, жили. Потому они еще у окна со вставленной «шибкой» постояли, дождь да гром послушали… На том, сказав все разом «Пока!», улыбнулись, хоть в комнате света и не было – откуда? – но Клавдия Васильевна потом писала, что она их улыбку почувствовала. А дождь лил, первый на свободной земле Абинской, смывал следы фашистской скверны, смывая, сердился, громом погромыхивал. Да что там, он так громыхал, что некоторые абинчанки с перепугу даже в окопы побежали – благо, они в каждом дворе были вырыты еще в августе прошлого года, перед немцами. Кое-кто так и посидел там, в окопе, пока не понял, что это не минометы и не «Катюша» играет, а сам боженька на небе управляется. Кто, понятно, и сам уже догадался или просто почувствовал, что за шиворот потекло, а кого так и вытаскивать потом из того убежища пришлось. Разно было… Клава, только проснувшись, к оврагу побежала, благо, он у них сразу же за огородом был. Только прибежала, видит, вода идет, а в ней чей-то череп плывет, другие кости… «Не всех их, видно, посчитали, - подумала Клава, даже не заметив того, что она о трупах говорит, как о живых людях. – Надо бы деда Мирона попросить – он рядом с кладбищем живет, - чтоб увез как-нибудь… Не лежать же им у нас под домом…».

Вскоре прибыл и дед Мирон – видно, «сарафанное радио» донесло ему весть о заботе внучки. «Вытащил дед Мирон граблями кости, - писала потом Клавдия Васильевна, - в драное корыто погрузил и на тачке свез прямо на кладбище…».

А дня через три-четыре танкисты Леня и Степан, в составе своей части, как говорили, «убыли» в сторону Крымской – там шли упорные бои. Абинские госпитали – а их в нашей станице было несколько, все были «забиты» ранеными. Дней через пять-шесть Клава уже получила первое письмо от ребят. Оно было большим… В начале письма шли приветы. Начинались они с «бабушки Марии, мамы Гали и всех братьев Клавы, родных и даже двоюродных», были приветы деду Мирону и всей родне и знакомым. «А тебе, Клавочка, так особенный!» - было написано в письме. Потом – о делах: «Дела наши идут. Мы уже были в бою. Рвем оборону противника…». Тут кончался почерк Степана, как отметила Клава, и начинался другой, скорее всего, решила Клава, это был почерк Лени. Он писал: «Пока неважно, крепка, зараза!..». На этом о делах разговор был закончен. Письмо было дописано Степаном: о том, как они оба, и Леня, и Степан, скучают без Клавы, как они оба вспоминают, как ходили по воду к колодцу и в кино, как пили вкусный чай, как они оба целуют ее, как братья… Подписей было две. Клава долго читала и перечитывала письмо и даже целовала его. О ком при этом она думала, мы не знаем…

А во второй половине апреля вдруг неожиданно – служба такая! – в доме у оврага возник знакомый старшина, начальник знакомых же танкистов. Вошел, сел у стола, огляделся. «О, обживаетесь, - заметил удовлетворенно, - окно уже глазастое…». И замолк… Долго молчал, вроде бы отдыхал – как будто из-под Крымской шел пешком. Потом, когда уж, видно, молчать уже было и неловко, он вздохнул глубоко так, тяжело и сказал: «Привет тебе, Клава, от наших танкистов, от Лени и Степы – персонально».

Клава как-то вроде даже вся вскинулась и уже хотела было сказать, как ей приятно и даже радостно было, когда она получила письмо от них, но не успела…

Старшина потупился, взгляд свой упер почему-то в землю, хоть там ведь ничего так и не найдешь, сколько не ищи – бабушка только что веничком пол подмела, - и тихо сказал: «Последний, к сожалению…». И замолчал – опять надолго. Клава уже и руками своими всплеснула, и с лица переменилась – видно, сердцем почувствовала страшную весть, - а он все молчит… В доме повисла гнетущая тишина. Наконец, он тихо вытащил из кармана не совсем свежий носовой платок величиной с полотенце, то ли он им глаза промокнул, то ли высморкался, и произнес: «Сгорели ребята, оба…» - и он уже открыто, не боясь и не стыдясь хозяев, застывших от этой вести, расплакался.

Уже позже, когда и старшина не только выплакался, но и отсморкался вволю, когда и бабушка Мария, что-то вспомнив, отшептала всегдашнюю молитву и вытерла глаза своим фартуком, и братишка, которому надоело, видно, такое сырое время, и, главное, Клава вроде успокоилась, вспомнив, какие жесткие, натруженные руки были у Степана, и как он нежно трогал пальцы и гладил ладони Клавы, как она стеснялась этого, хоть ей было и приятно до мурашек по коже, старый солдат продолжил свой рассказ…

«Они, черниговские, мне, право, как дети родные, были…Молодые, а такие добрые… Что не прикажешь – сделают. Машину в порядке держали. Ее, кстати, мы из боя вытащили, буксиром… А вот ребят – не успели, не смогли… Я себя виню, не углядел… Да и как?... Как пошли машины в атаку, а тут самолеты немецкие… Штурмовики…Не увернулись ребята, бомба или снаряд, черт его знает, прямо накрыл их машину… Вспыхнула, как свечка… Один, верхний, выпрыгнул, так его пулеметом порезало… А эти так оба и сгорели… Степа прямо за рычагами. Такая жалость… А я им обед принес было…Хоть выливай… Такая беда…».

Бабушка Мария – хозяйка есть хозяйка, - налила старшине стакан водки, поставила на стол, сказала: «Помяни…».

«И тебе?» – спросила бабушка Клаву, но та отрицательно кивнула головой и прошептала: «Нет, я не могу…», - продолжая вздрагивать всем телом…

Старшина принял стакан, встал, сказал, как отрезал: «За помин душ молодых – стоя!», выпил, подобрал свой вещмешок и вышел, даже и не попрощавшись.

Клава видела в окно – оно ведь уже было зрячим, - как он вышел на дорогу, чуть кивнул проходящему грузовику, вернее, его водителю. А когда машина чуть тормознула, он встал сапогом на колесо, оттуда – в кузов… Больше она его и не видела…

Только боль потери осталась.

Потом, уже осенью, когда освободили всю Кубань, Клава ездила в Крымскую – надо было на консервный комбинат, по заводским делам, - но, пользуясь случаем, она искала, где их, знакомых ее, могила. Но сделать это было очень трудно – Крымская была вся в воронках и развалинах.

А примерно за месяц до победы она нашла в своих бумажках листок, оставленный самим Степаном с адресом: «Черниговская область, село Озеряны, Колесник Степан Иванович». Она еще подумала: «А какой же район?..». Написала, хоть и понимала, что это ее письмо – оно «на деревню дедушке…».

Ответа долго, почти все лето, не было. Но вдруг – пришел. Отозвалась сестра Степана, Оля… Оказалось, что мать их умерла в 1943 году, отец вернулся с войны без ноги, брат старший погиб, а она, Оля, была угнана в Германию… Так Клава узнала, считай, все про семью, которая могла бы стать и ее семьей, останься Степа, Степан Иванович Колесник, в живых… «Если бы да кабы» - как говорили раньше.

Забегая вперед, скажу: уже после войны, когда Клава узнала, что на Сопке героев – это за Крымсой, - установлен танк в память о всех погибших на Кубани танкистах, она, даже не однажды, в День Победы, бывала там, возила туда цветы. Она считала, что этот танк, именно такой, на котором воевали Степа и Леня, - это памятник и им, ее знакомым. А гитару Клавдия Васильевна, как она писала, она сохранила дома – тоже как память, но уже более близкая, о ребятах, которых она любила…

Но вернемся в 1943-й… Личное горе, общее горе. Что сильнее давит на психику человека, что ломает и гнет его больше, что человек переносит проще, а что – непереносимо?.. Много на этот счет мнений, разные точки зрения, иногда побеждает одна, в другое время – другая… Нет однозначного ответа, не ищите. Кто-то сказал бы: «Есть божья воля…», я же скажу иначе: «Есть личное мнение…»

После вести, принесенной старшиной, Клава для всех очень надолго «замкнулась». Горе ее, видать по всему, было сильным. Она замолчала, перестала вообще разговаривать, чем-либо у кого-либо интересоваться, часами могла лежать, уткнувшись, как все говорят, «носом в стену». Первые дни приходили ребята; то Павлик, то Ваня, а то и все сразу. Они так и в одиночку, и все разом пытались успокоить ее, старались разговорить, они обещали ее выдать замуж, кто-то из них даже говорил: «А выходи за меня!..», но она продолжала молчать, будто их и не было… О чем она молчала, не скажет никто.

А вот мы – давайте попробуем. Когда Степан Колесник передал Клаве листок со своим адресом?.. В день, когда она узнала в овраге истинное число людей, что были вот здесь расстреляны немцами, когда она, по ее честному, собственному признанию, чуть не стала терять рассудок. Это был, пожалуй, тяжелейший в ее жизни день. А потом, вечером, когда в дом вернулся Леня и сообщил, что на бригадном дворе будет кино, она вдруг согласилась пойти... Помните? А перед этим у Клавы со Степаном что было?.. Разговор!.. О чем?.. Об адресе… И о том лишь, чтобы она сообщила в Озеряны, если она узнает, что он погиб?.. Только об этом?.. Вы так думаете?..

Степан весь день был рядом с Клавой, видел почти весь ужас ранее уже произошедшего здесь и происходящего в овраге сейчас, видел и чувствовал ее состояние… И придя домой, он, оставшись один на один с девушкой, которая ему симпатична, которую он даже любит, и которая к нему – он же видел все это! – не равнодушна, он ей вручает адрес, по которому она должна сообщить в случае его смерти?.. Вы, читатель, вы способны на это?.. Вы что, поверили в это?.. Вы способны в 17-18 лет, а Степан был примерно такого возраста, вы можете сказать девушке такое?.. В ее возрасте и ее состоянии?.. Тут что-то не так. Смею предположить, да скорее всего именно так дело и было. Видя состояние Клавы и не зная, как ее утешить, как вырвать ее, в конце концов, из лап этого дикого, не поддающегося рассудку расстрела, он решил дать ей адрес…чтобы она могла написать ему письмо о том, что она его ждет - не дождется, выходит к каждому поезду из Германии, ждет, как тот соловей лета, только на этот раз уже слова: «Еду!..». Потому – то она его и поцеловала – и, наверное, не один раз!.. Мы даже не можем сказать точно, говорил ли ей Степа о том, о чем она потом написала в письме? Письмо-то ведь было написано, мне, я имею ввиду, вернее, даже нам всем, уже, как говорят, спустя десятилетия…

Она молчала несколько дней. Боль от потери танкистов несколько вроде и утихла, она ее вроде бы уже и оправдывала. «Они же в бою сложили свои головы, погибли в неравной борьбе с врагом…», - успокаивала себя Клава. Но успокоения не приходило, но уже - по другому поводу…

 Три мысли бились в ее голове, причем не как-нибудь в порядке, одна за другой – сначала одна, разобраться бы в ней, потом – другая, третья… Нет, они все лезли в голову, как бы из разных углов дома, кидались друг на друга, ссорились, пихались, орали так, что в ее голове шум стоял, и все требовали ответа. А ответа у Клавы не было…

Она не понимала, за что расстреляли их кума, тихого Илью Ткаченко?.. Она хорошо знала и его, и его семью, знала, что он, как тогда говорили, муху не мог обидеть… И так же, как его, и других – ни за что?.. Просто за то, что жили, улыбались, любили?.. Значит, ни за что!?. Значит, на месте Ильи мог быть любой другой?.. И – она?.. Хоть она, считай, еще и не жила?.. Только школу закончила…

Она терялась в догадках. И, главное, - когда?.. Когда?.. Ведь в тот самый день, когда они, наконец, встретились с ребятами на поле ВИТИМа, в той машине было всего человек 20, не больше… Значит, сюда, в овраг, сюда привозили людей каждый день?.. И не только мужчин?.. И – женщин?.. Она сама видела несколько скелетов в юбках… Она слышала ту незнакомую женщину, она говорила, что были и пешие… От боли, от непонимания всего раскалывалась голова…

А куда и когда увезли всех?.. Она видела, как тогда, еще в первый день, вдова Вера со своими дочками унесла мешок с костями Ильи… А – куда?.. Наверное, на кладбище, куда же еще?.. А где – остальные?..

Она даже сейчас - а уже прошел, поди, месяц, - продолжала слышать, как говорили все, кто выступал – их голоса прямо бились в ее мозгах, в ее черепе, - гневно и страстно: «Здесь должен быть памятник!..», «Народная тропа сюда не должна зарасти!..», «Каждый житель должен здесь бывать!..», «Этому месту надо воздать должное внимание!..», «Это место всеобщего поклонения!..».

Закончилось все это тем, что не выдержала мать Галя, она даже раз прикрикнула на Клаву, когда та не ответила на заданный ею вопрос. «Хватит! – сказала мать. – Кончай думать о всех!..Их не воскресишь, им уже всем хорошо – они на небе… А ты живая, слава богу… Кончай думать да тревожиться – им не поможешь… А вот сдуреть от этого – это нам как раз плюнуть… Тьфу-тьфу ты!..»

Со временем Клава «отошла», стала сначала разговаривать, а потом – и улыбаться. «Ну, вот и ладно! – говорила мать, когда иногда утром, встав раньше всех и принеся пару ведер воды на коромысле из «церковного» колодца, и, наверное, в пути вспомнив при этом молодых танкистов – как не вспомнить! – Леню и Степу, как они всегда весело помогали Клаве принести воду домой, и, конечно же, вздохнув и подумав: «Ну, эти хоть в правом бою погибли!!..» - видя, как Клава с улыбкой убегала на свое «ягодное», - вот и хорошо, вот и ладно… А то, чего доброго, можно ведь так задуматься, что и дурочкой станешь… Этого нам еще не хватало…»

А Клава улыбалась потому, что «ягодное» оживало. Когда подходишь к хозяйству, то уже издалека была видна вишневая аллея в два ряда. И все, естественно, радовались, когда деревья зацвели.

А цвела не только эта аллея, но и та, что росла и тянулась от колодца на «ягодном», на горке, вниз – до самой, считай, Гусевой балки. Цвели даже и те деревья, что были за горой – там их было куда больше, там сад был в четыре ряда.

Как тут не порадоваться жителям Кабанивщины еще с самой околицы станицы, от самого оврага, что когда-то был к ним таким добрым и даже любимым, а потом вдруг повернулся к ним же совсем другим, как говорят, боком… Он начинал зеленеть молодым кустарником, и как-то, когда идешь рядом с ним, боль от этого притупляется, становится менее заметной…

А что тому главной причиной, поди, узнай? Может быть, молодая зелень, что всходит, по существу, на людской крови… Может, этот далекий вишневый цвет, радующий глаз и обещающий урожай… А, может быть, радуют и заботы – все виноградники «ягодного» до сих пор еще опутаны колючей проволокой и с этим что-то надо делать… А, может быть, что тоже немаловажно, радует и совсем практическая сторона дела: на «ягодном» всем здесь работающим выдавали – сегодня бы сказали: платили, - в месяц ведро отрубей и столько же – макухи… Не забывало начальство и про иждивенцев – им по полведра того и другого на каждого. Как тут не улыбнуться?.. А, разве, зная Клаву, с ее самыми неожиданными выходками, нельзя подумать о том, что она улыбнулась оттого, что вдруг подумала: а как объяснить вам, читатель, что это такое: отруби и макуха? Как назвать сей, с позволения сказать, продукт, как ни странно, нашего, тогдащнего, питания? Который, как, опять, ни странно, был в те годы далеко не у каждого? Как?.. Отвечу, как сказала бы вам сама Клава: «Лучше вам, дорогие мои, этого и не знать…».

Макуха – макухой, отруби они отруби и есть. Все равно в доме Клавы было голодно. Утром от голода в глазах темно, хорошо – что на плите уже чайник закипает. Клава выпьет стакан чаю с желудями, что еще до войны в лесу под хутором Ворошиловым насобирали, а румыны как-то «не дошли» до него, не вытряхнули из узелка, иногда – даже и чистой воды. И – на работу. По дороге, скажем так, по тропе идя, она где травинку сжует, где тот же лист подорожника или одуванчика – вроде бы и перекусила. И так – до обеда, обед, хоть и жидкий, как писала Клавдия Васильевна, - «без мяса и жира, но давали». А бежит она домой, смотришь, где то крапивы подорвет, то лебеды. Сварит борщ, а он, что на цвет, что на вкус – одна трава, но похлебать все же можно - спасибо, абинских крапива и лебеда часто выручали, - без мяса, без картошки. О мясе что и говорить, если немцы да румыны все съели, а вот дедушки Саввы картошку – «Красную розу», - что росла на Ворошиловской земле – крупная, рассыпчатая! – как не вспомнить!.. А вспомнишь – слюнки побегут… «Хорошо, - писала через, считай, полвека Клавдия Васильевна, - соли можно было купить на базаре. Грузины привозили, продавали – по 10 рублей за стакан…».

Порой и не поймешь, читая эту повесть – а она вся, считай, основана на письмах Клавдии Васильевны, - что тогда, в 43-м, 44-м, 45-м, а также и в другие, уже послевоенные годы, помогало людям не только лишь жить, но и работать?.. «То ли щи с лебедой, - как писал один местный поэт, - то ли возраст молодой..?». Но жизнь, как тогда говорили, «кипела». На том же «ягодном», например, собрали всю, до кусочка, ржавую колючую проволоку, очистили всю его как говорят, землю «от скверны». Взялись все – женщины, девушки и даже девчонки, - за топоры и пошли в ближний лес рубить кол для винограда. Почему все? А как иначе, если мужиков-то нет… Вкопали колья по рядам на винограднике – тоже, надо признать, что это далеко не женская работа, а что делать? Не ждать же, когда бойцы с фронтов вернутся да все сделают?.. Привязали, как сумели лозу к кольям. Но лозе кольев мало, ей же надо к чему-то цепляться, куда-то тянуться… Раньше, вспомнили, была на винограднике простая проволока. Ее нет, как и капитальных кольев. Вернее, колья, хоть какие-никакие, но все-таки есть… Вспомнили, вернее, подумали: а колючая на виноградник не пойдет?.. Пойдет – не пойдет, другой-то нет… Они насадили огромный, практически неподъемный, моток этой самой же «колючки» на оставшийся свободным кол и несколько дней сами катали его, пыхтя, надрываясь, по всему винограднику… А она – тяжеленная, особенно если на голодный желудок…

Раскатали, натянули, подвязали – дело сделали…

А дни, меду тем, бежали. Работа кипела, сады да виноградники сначала только обещали урожай, а потом и принесли. И война, по слухам, шла уже к концу. А памятника, как замечала Клава, идя по росной тропе вдоль оврага, все не было и не было… Более того, если у него раньше кто-то всегда да возился – то ли кто родственника искал, то ли пацанята кабанивские кости собирали, чтоб сдать на пункт вторсырья – крючок там рыболовный купить или ту же катушку ниток, - то теперь Клава стала замечать, как место это – «Место поклонения!» - вспомнилось ей чье-то восклицание, надо сказать, не к месту, - все более и более как-то запускалось и глохло. Берега оврага уже зарастали колючим кустарником, над ериком стали подниматься молодые деревца… «Видно, поговорили чужие дяди, поговорили – генералы да корреспонденты, - пообещали нам, да и забыли…», - подумала как-то Клава, и ей стало вдруг как-то нехорошо – вроде ее саму кто где-то в незнакомом месте забыл… Обидно ей даже стало…

А дни, прямо-таки, летели. День за днем. День за днем…

Один из них Клавдия Васильевна запомнила очень хорошо…

Женщины и девушки, как всегда, работали в поле – дело там всегда, в любую пору года найдется, Здесь же, рядом с ними, крутились мальчишки Вася Колпаков и Саша Крохмаль – где помогут, поднесут что или еще что сделают, - труд невелик, а обедом покормят, да и как-то спокойней маме, когда пацан рядом, перед глазами. Им постоянно напоминали, как Клаве когда-то, в оккупации: куда не ходить, чего не трогать… Напоминание им не было лишним: недалеко от конюшни, на бугре, был дзот; пользовались им во время боев или нет, не знал никто; скорее всего, да, уже немцы – сразу после освобождения Абинской там видели несколько их, убитых; убирать врагов, естественно, никто особенно и не спешил; возможно, они там были и по сию пору; ребятам все говорили: туда не ходить…

Когда столовские позвали всех на обед, они ударили «сигнал» в какую-то железяку – часы тогда были редкостью, скорее всего, никто их и не имел. А ударили потому, что обед был уже готов – учетчица Маруся – ей надо было срочно идти на вареньеварочный завод, - уже допивала компот.

Услышав зов поваров, все спешили – кто не позавтракав дома, а такие были, вроде Клавы, ощущали чувство голода, остальные бежали вместе - за компанию. Поэтому никто и не обратил внимания на сидящих под стеной столовой пацанов. Сидят так сидят, ну и ладно…

«Приятного аппетита!..» - пожелала повариха, приглашая всех к столу и ласково провожая выходящую из помещения Марусю, уже поевшую…

Маруся вышла. Зачерпнул ли кто супа или нет, неизвестно. Известно, что раздался взрыв. Все вскочили и выбежали вон… И увидели…

Маруся успела дойти до угла столовой, за которым сидели пацаны. За углом ее ожидал взрыв. Ей разнесло лицо, она упала замертво, не произнеся ни звука. По всему двору катался с криком Вася Колпаков, пока не утих, умерев. Саша Крохмаль дико выл, руками схватившись за лицо…

Как выяснилось позже, пацаны именно у дзота и нашли мину, они же принесли ее к столовой и стали из нее что-то выбивать.

Крохмаля увезли в больницу – он повредил левый глаз.

Колпакова забрали родители, он погиб.

Марусю, как погибшую на рабочем месте, хоронил завод.

Такой вот день… Памятный...

«А чуть позже глядим, - писала Клавдия Васильевна спустя многие годы, - едет в гору к нам, думаю, на велосипеде, так старается, так спешит, Ваня Голобородько, тоже наш же работник… Спешит и кричит: «Девчата!.. Война кончилась!..Кончилась!..».

Мы обрадовались, расплакались все, ревем и обнимаемся – все подряд, с каждым, утираем слезы кто платком, кто – платьем и снова ревем, ревем…

Наревевшись, все сразу оставили работу и побежали в станицу, в центр…»

Между прочим, мимо оврага.

«Вот и победа пришла, наконец, - подумала Клава, когда пробегали мимо того места, где она сама видела расстрел. – а памятника так все нет и нет…».

Шло время… Шло до того стремительно, что, казалось, люди и не замечали, как мелькали дни, ускользали недели, шмыгали месяцы, шелестели времена года. Да и годы, тоже так быстро текли или «шагали», как тогда в газетах писалось, что было, вроде вот только что ты встретил его, оглянуться не успел, а он уже – шасть! – и ушел, нет его, встречай новый. Уже шумно и крикливо, наверное, от того, что заждались ее, истомились и износились от ожидания, отпраздновали День победы, в который блеск орденов и медалей на груди бойцов, а куда больше – у командиров, затмили все утраты и горечь потерь, все это как-то отодвинулось, ушло в глубь, ведь как-то и неудобно говорить о чем-то своем, когда весь мир, наконец, празднует, стоит ли ломать эту долгожданную радость своим горем?.. А затем, потом так же просто, как раньше о горе, забыли и о победе – причем надолго, ну очень надолго… Уже убрали с улиц, переулков, площадей и даже дворов одинакового покроя «тумбочки», как их называли станичные женщины, - скромные пирамидки, очень простые, поставленные в память о случайно погибших, где в одиночку, а где и целыми группами, не военных людях, часто – детей, что поставили тогда, вскоре после бомбежек, обстрелов, взрывов мин – чтобы не забыть; память людская, говорят, забывчива, а душа – заплывчива, - когда то ли в суматохе дел, то ли от того, что и некому было хоронить; одним словом: война – она многое списала, почти как и говорили: «Война все спишет…». А кто ставил?.. Да по-разному дело было. Где – родственники, где – друзья, а где так и совсем уж чужие люди. Хоронить-то по-людски часто то времени не было, то людей, а то и возможности... Если после бомбежки оставалась хоть одна воронка, яма, люди, кто был жив и рядом, «а это уже спасибо богу» говорили и старались, чаще всего это были женщины – хоть и говорят, что

захоронение – не женское дело, а кому? не ждать же им мужиков с войны? – начинали стаскивать в эту воронку трупы и даже их «фрагменты»… И даже писали на дощечке или на самой «Тумбочке» имена, фамилии… Чтобы это помнить, чтобы знать, чтобы не забыть… А потом их, «тумбочки»-то эти, убрали. А доставали ли в это же время из ям и воронок трупы – неизвестно. Да и кому это было, по существу, нужно? Надо было восстанавливать дома, заводы – все нуждалось если не в строительстве, то в ремонте.

Память подождет…

Абинскую то и дело «накрывала» или волна, или инициатива. Жизнь кипела. А ведь было еще и то, что не планировалось, не обсуждалось даже, что, как говорят, прямо «падало с поезда…». Так, однажды в Абинскую именно «упал с поезда» десант не десант, а крупный отряд моряков. Это была жуткая картина. Человек 25, если не 30 безногих мужчин еще не очень старого возраста стремительно – именно стремительно, другого слова тут и не подберешь, - выпали из вагонов поезда, прибывшего из Новороссийска. Думается, организуй кто это соревнование безногих со здоровыми, я не берусь утверждать, что победу хоть один раз бы одержал здоровый. Клава видела эту высадку. Душа ее в этот миг раздвоилась. Она уже была готова рыдать при их виде – а у каждого ног, считай, не было вовсе, вместо них у «десантников» была или такая тележка на маленьких шарикоподшипниках, на которых каждый катил, словно лихач на машине, или кусок иногда кожи, чаще дермантина, что был пришит то ли к брюкам, то ли прямо к ремню. «Несчастные люди!..» - так хотелось кричать во весь голос Клаве. И тут она видела, как они спускались на землю. Ступенек для них не существовало – они скользили по поручню, по два сразу. И ей уже, тут же, не терпелось громко закричать: «Браво!.. Какие вы молодцы!..». Они , по-моему, появились в Абинской ранней весной и были до осени, пока их не сдул ветер, свирепый, словно та же новороссийская «бора», что последовал вслед за указом или приказом – убрать инвалидов с улиц больших городов… «Десант» был, как сказали бы сегодня, крайне живописен. Все безногие были в морской форме, На голове у каждого – бескозырка с вьющимися лентами, на всех – бушлаты или форменки с морским же воротником, под ними – полосатые тельняшки. Кое у кого даже болталась боцманская дудка или свисток. Все ли они были моряками или нет, неизвестно, но и они, и все вокруг звали их никак не иначе, как лишь освободителями Новороссийска, и гордились этим. Клава видела их и при высадке с поезда, и встречала не раз на рынке, где они «сбывали с рук» мелкие пачечки сахарина и крохотные «камушки», просто невообразимые в их крупных и сильных руках; иногда разговаривала с ними, жалела всех их – а как иначе, если человек на фронте лишился ног, причем начисто, дивилась их силе и сноровке и просто поражалась их силе духа. Просто ахала: как можно потерять, считай, все, и озоровать, шутить?.. Жить?!.

В Абинской «десантников» больше любили, чем испытывали другие чувства. Хотя надо признать: они были, правда, не все, но многие, легко взрываемыми людьми. Стоило кому – а такие люди были, что уж тут таить, - сказать что или посмотреть на них, как говорят, «косо», сразу или только тельняшка рвется на груди, или и ремень с увесистой морской бляхой уже на руке свистит… И любой знал: мало, как говорят, это никому не покажется. Но, а зачем их злить, этих людей, чья жизнь, по существу, во время войны была отнята, вернее, перечеркнута? Тем более, что они выполняли важную задачу. В то время они к нам в Абинскую пришли, как купцы – коробейники. В магазинах не было ни сахара, ни конфет. А «моряки» при себе имели для продажи сахарин в пачках и камушки для зажигалок, что купить можно было только в Новороссийске… Отсюда и любовь к этим «морякам» - не ехать же каждому нуждающемуся в сахарине или в камушках в Новороссийск?..

А жизнь кипела. Уже поднимались вокруг обгоревших, без крыш, окон и полуразрушенных корпусов зданий и просто домов строительные леса. Уже, в частности, и на территории консервного – так после войны стал называться вареньеварочный завод, - идет работа; здесь из старых зданий, по крайней мере, стен остались только стены довоенного заводоуправления; все остальное строится, по сути, заново – под новые технологии, чтобы во все цеха и склады въезжали грузовики и автокары, а под крышами цехов – и плавали машины автоклавов… Уже вновь - но на ударной трудовой вахте! – встретились друзья по военному ненастью: Павел Бурун, Ваня Колычев, Володя Коровин и Клава Литяга, уже…

Много чего было уже, а памятника все не было и не было… А для этой дружной четверки невольных свидетелей расстрела мирных земляков и иногородних людей немцами и их подручными - полицаями еще в 42-м году, не было на свете – так «свалилось», как теперь говорят молодые, так уж получилось, - воспоминания страшнее и горше. Может быть, ребята – позади были суматоха и азарт наступления, послевоенный призыв в армию, с дикой в те годы альтернативой: «возьмут или нет из-за недостатка веса», потом годы службы, а их было, как минимум, три, танцы по вечерам, свидания под пение соловья – а их тогда было тьма – тьмущая! – поцелуи при луне и без нее, летом и зимой, - когда и забывали об этом – из-за возраста, радостей мирной жизни, когда в воздухе, казалось, был разлит и слышался всем вскрик одной седой женщины, что прозвучал, как заклинание: «Только бы больше не было войны!..» - ставший вскоре как бы всеобщим, всенародным пожеланием и наказом. Может быть, но Клава – вот уж какая неугомонная девчонка, вот уж какая настырная! – все время возвращала и возвращала их к тем дням, двум – расстрела и «вскрытия» оврага – когда она и они увидели падающих, а затем – и пролежавших в овраге долгих и холодных восемь месяцев незахороненными… «А мы ведь православные!..» - говорила она. – Как же так!.. Только земелькой присыпанные… И, честное слово, ладно бы где-нибудь в глухих лесах или в недоступных горах – там ведь и век спустя можно будет наткнуться на одинокие останки! А это ведь вот, рядом с такой станицей!.. Вы же посмотрите: как она расширилась!.. Гляньте, ведь наша Кабанивщина на целый квартал выросла!.. Люди построились, они даже не знают, что живут рядом с местом расстрела. Рядом с кладбищем!.. Ты вот выходишь из нового дома на крыльцо, во двор, на улицу, наконец, говоришь всем: «Добрый день! Здравствуйте!...» А тебе из оврага – ну, Павлик, возьми и представь, - я же знаю, ты это можешь, напрягись!.. – а к тебе отсюда вот поднимаются скелеты, тянут руки, смотрят пустыми глазницами и говорят беззубыми ртами: «Добрый день!?.» Да какой же он добрый?.. Ты можешь, скажи мне, это пережить?.. Ребята, мы же все это видели!.. Неужели мы все забыли?.. А ты, Ваня?.. Или ты, Володя?.. Вам хорошо, вы живете далеко отсюда!.. А я – рядом!.. Мне иногда кажется, что они ко мне прямо в окно все смотрят… Это же рехнуться можно!.. – она помолчала. – А мне, знаете, хватит и 43-го года… Сначала это, потом – ребята…» - и она замолчала. «Клава, не надо… - как-то слишком поспешая, остановил ее Павел Бурун. – Мы все помним и тебя понимаем.». «Это точно, - сказал Ваня Колычев, а Владимир Коровин кивнул головой. – Мы, как и ты, тоже хотим, чтобы тут, - он кивнул в сторону оврага, - был памятник. А ты, Клава, все еще пишешь, надеешься? – вдруг спросил он. – Я почему спросил?.. Мне кажется, что всем хочется, чтобы жертв на войне было меньше, по крайней мере, указанных, отмеченных…». «Знаешь, - сказала, почему-то задумавшись, Клава, - я иногда тоже об этом думаю – я уже не та девчушка, что была в 43-м или в 45-м, на «ягодном» уже сколько лет не была, когда каждое утро мимо оврага все бегала, но иногда прихожу сюда, как вот сейчас с вами… И вижу: никому он, наш овраг, видно, не нужен… Да он и сам старается, видите?.. Зарастает вон кустарником, бурьяном до того диким, что скоро к нему ты и не пролезешь. Деревья вон какие вымахали… А для, вы же сами понимаете, для памятника простор нужен…Но я, я добьюсь, ребята… Слово даю, ну, до самой смерти буду стоять, но добьюсь…»

Понятное дело, Клава, возможно, и не вела этого разговора с ребятами, а если и вела, то по-другому. Тут, как говорят, 50 на 50. С одной стороны, она была смирная и тихая, И, как говорят, по определению, не могла вести таких разговоров. Каких?.. И – почему?.. Она – девушка рисковая… И – потом: не зря ведь говорят – в тихом болоте черти водятся… Иначе почему они все – четверка! – так ждали того дня, когда, наконец, на месте массового расстрела будет памятник. Или хотя бы памятный Знак…

Ах, как это часто бывало… Поговорили – и забыли… Не потому ли в годы войны всегда и существовал принцип, а вернее, даже закон: после боя погибших захоронить и поставить пирамидку со звездой. Скромный, не видный даже, наверное, недолговечный – никакого тебе камня или мрамора, но – памятник. Чтобы люди помнили.

Командиры и корреспонденты! Вы – одни своим пламенным словом, сказанным в «массы», а другие – строчками во фронтовой газетке, вы же сжигали сердца людей в пламени могучей всенародной ненависти к врагу, оккупантам, роняли надежду и ожидания… «Память не должна угаснуть!..» - говорили вы.

И в Абинской и во всем районе велась эта сложная и немалая работа над сохранением памяти. И в станице, и в других населенных пунктах строились чуть ли не мемориалы, воздвигались обелиски, ввысь стремились стелы, на камнях высекались бесконечные списки воинов, погибших в наших краях. И их было немало, ох, как же немало… Просто много. Очень много. Спасибо офицерам запаса, а затем – и в отставке, за то, что почти в течение полувека вели эту кропотливую работу. Честь им и слава…

Но Клавдия Васильевна – она уже не та беспокойная и готовая хоть бежать куда, хоть и гнать колхозное стадо в горы, - она уже давно работает на консервном заводе, она, как тогда говорили, на «хорошем» счету, ее портрет на заводской Доске почета, но в чем-то она по-прежнему, как в годы войны… В чем же это?.. А вот в чем: она ведь по-прежнему считает, что на месте расстрела мирных жителей – там были и иногородние, которых мы вроде бы и не знаем, но все они, считает она, погибли одинаково – они все расстреляны, а потому, неважно, абинчанин он или прикомандированный на уборку, но так и не успевший уехать, отставший боец или эвакуированный откуда-то, – все они достойны памятника. Как говорили об этом еще в 1943 году на митинге командиры, и корреспонденты…

Понятное дело, Клавдию Васильевну одолевали и другие ее заботы – разные: домашние, производственные, что-то купить, где-то побывать, куда-то сходить, наконец, написать: в Москву ли, в Ростов или, в крайнем случае, в Краснодар… Все - о памятнике, о расстреле…

Сколько она этих писем написала, сколько конвертов извела!.. Хорошо, говорят, они тогда дешевыми были…

Писала и с обратным адресом, и без…Ни одного ответа, ниоткуда… Не получали, что ли? Она помнила, как в первые годы «писательства», как она иногда с усмешкой называла это свое увлечение, хотя какое это увлечение – это же мучение, это же суровая необходимость, ее попытка достучаться куда-нибудь, добиться, чтобы ее услышали, поняли, - так вот она, как обычно, придя домой, сразу бросалась к почтовому ящику, а потом – и ежедневно! - еще долго всех своих домашних расспрашивала, не брал ли кто письма из ящика, не положил ли кто его куда-нибудь да и забыл?.. Тетку-почтальоншу тормошила: не занесла ли куда в другой конец улицы, да не потеряла ли?.. Письма не было… Потом она как-то вроде бы даже и успокоилась, стала думать о том, что у всех людей хлопот много, страна – то наша вон как вся восстанавливается, до письма ли тут занятым людям?.. Вспоминала и о том, как долго-долго она ждала ответа с Украины, с Черниговщины?.. Успокаивала уже себя, обнадеживала: «Вот с Украины же пришло, даст бог, придет и из Москвы… Или из Ростова… Скорее всего, Краснодар ответит… Ждать надо…». Но почта молчала… Одно, она это помнила долго, Клавдия Васильевна написала, как она потом говорила, с конкретным примером, с обоснованием, что ли?.. «На это не могут, - думала Клавдия Васильевна, - не ответить. Не должны…».

Обоснование ее было таким. Она рассказала в том письме об одном из первых дней после освобождения Абинской…

Сначала она о нем помнила все. И то, как бабушку кто-то позвал на Восточное кладбище, на похороны. Это был, скорее всего, второй день в свободной Абинской. Всюду было ну просто полно военных, и если у дома Литяг это были танки и танкисты, все в бугристых шлемах и расстегнутых комбинезонах, то и в центре, и за речкой, у школы и развалин церкви, где уже не было крестов, но кладбище, как говорят, просто так чувствовалось издали, войско было разное. Где шла пехота, где кони тянули одно за другим орудия, где бабке и Клаве путь пересекала группа женщин в военной форме, кто в шинелях, кто – в ватниках под ремнем. В трех местах бойцы никуда не спешили, там пиликала гармонь, лихо звучал перестук сапог, слышались смех и частушки. Там же виднелась и абинская молодежь… Попадались и спешащие абинчане, в основном, старухи. От разрушенной церкви старух стало больше. А у кладбища Клава с бабкой увидели и много военных, прямо в строю, все с винтовками, с вещмешками за спиной. Все чего-то ждали…

В кузове грузовика теснилась группа гражданских и военных, одни в платках, другие все – в папахах.

Вскоре подъехал еще грузовик. Бойцы откинули его борта, и все увидели стоящий там, на полу грузовика гроб. «Хоронят кого-то, - сказала, приглядевшись, бабушка. – Не иначе, генерала… Вишь, народа сколько собрали…». «Митинг будет, - догадалась Клава, - Речи будут говорить, - вздохнула она. А бабушка перекрестилась.

Слышно было плохо. Во-первых, далеко. Во-вторых, ветер был и не сильный, но какой-то порывистый, он рвал слова и уносил их куда-то. Клава изо всех сил пыталась разобрать сказанное, но чаще всего это ей почти и не удавалось сделать. От этого было неуютно – «Была на похоронах и ничего не узнала, эх, ты…» - могли сказать, думала она, ее друзья. И она все время продолжала прислушиваться.

В конце концов она узнала, что хоронили совсем не генерала, как предсказывала бабушка, а всего лишь капитана. Он погиб, наступая на Абинскую, две недели назад. И Клава сразу прикинула, когда это было, вспомнила, что они тогда делали. «Мы тогда пытались, всем очень хотелось, даже и маленьким, услышать орудийные залпы и голос радио, - сразу же вспомнила Клава. – Немцы не разрешали нам выходить из дома, угрожали, так мы стакан к стене прикладывали… Кто-то подсказал… - А вот кто, Клава так и не вспомнила. - Слышно было, правда, как и сейчас, неважно!.». – усмехнулась она про себя.

Видела ли она похороны? Да. Только издалека, как сказал бы Павлик Бурун, в общих чертах. Если говорить откровенно, то видела она все, действительно, в общих чертах, а вот слышала, пожалуй, только музыку – она, - оркестр, видимо, был воинский, - рвала ее слух и душу, вызывала слезы; Клава помнила, что она просто ревела, хотя вроде бы и не собиралась это делать, рядом всхлипывала бабушка, другие женщины чуть ли в голос не кричали; даже – Клава мельком это отметила, - стоящий чуть впереди них мужчина, он вроде окаменел и не плакал, просто слезы текли и текли по его щекам. А он стоял по стойке смирно и не смел их даже вытереть. А еще ее потряс салют – она такого никогда еще не слышала. Ее душа после всех выстрелов как бы очистилась, обновилась… И как бы успокоилась…

Потом, уже на заводе, какой-то незнакомый дядька, когда она однажды рассказала, спустя уже годы, об этом в своем цехе, и о том, что она при этом чувствовала, сказал, покачав головой: «Ты там пережила катарсис… Тебе повезло…». «Чего пережила?..». «Чего?..» «Повтори!..» - стали требовать рабочие, даже за руки его хватали. Но он отмахнулся и ушел, лишь качая головой… А Клава потом ходила в библиотеку, в словарях рылась, стараясь узнать, что же значит это слово: «катарсис»?.. Представьте себе, нашла!.. Оказывается, еще «черт те когда», как говорили женщины, еще аж до новой эры - и когда это было? - этому слову древний грек Аристотель придумал объяснение… Написано, уже, правда, естественно, не греком, так: катарсис – «это душевная разрядка», потом, через запятую, добавлено: «очищение». Клава раз прочла, другой, третий… Подумала… Потом, увидев чуть ниже написанное: «через сопереживание», прочла, закрыла толстый словарь и вышла из библиотеки…

За давностью лет – где он теперь, тот 43-й, март? – все уже не только забылось, но и, как говорят, «быльем поросло»… И тот лень, радостный – всюду бойцы, бойцы, машины да пушки, гармошка, всплески частушек да впервые - почти за год! – женские улыбки, хотя пока и редкие, - и те похороны, салют, рев меди оркестра… И ее чувства, ощущение… Уже по пути домой они с бабкой встретили знакомую Клавы – учились вместе, и знакомая рассказала все.

И о том, что похороненный был местный. «Учился в нашей школе, - говорила знакомая. – Да ты его знаешь, видела не раз!.. Яша Тищенко, ну, вспомнила?.. Видный такой…». И о том, что мать его, Якова, прямо на похоронах сказала младшему своему, Паше-партизану, иди, мол, воюй вместо Якова. «И командиры, - говорила знакомая, - прямо тут же сразу и сказали новобранцу, в каком взводе батальона он уже числится… И Павел сразу пошел служить…» И о том, что все – «Ну, кто выступал! – сказала знакомая, - Все говорили, что Яков воевал геройски. Прямо так и говорили: «Ульяна Никитовна, ваш сын герой! Вы им гордитесь!..»

По пути домой Клавдия Васильевна кое-как, «с пятого на десятое», как тогда говорили женщины, вспомнила, попыталась, по крайней мере, все вспомнить, и что видела и слышала в тот день – естественно, на кладбище, - и что узнала потом от знакомой. Получилось не много, но зато, как она думала, - главное… Она вдруг вновь, ясно так, как будто это было вчера, в крайнем случае, позавчера, а не четверть века назад, почувствовала то, что тогда чувствовала - в 43-м, в марте месяце.

И она вдруг поняла, почему, по какой причине она не забыла, а просто запамятовала тот день, на кладбище, он был в ее памяти, как вырванная страница дневника или тетради; все вокруг есть, помнится, а этого – нет, хоть тресни или, как говорят, «лопни»… Нет, и все!..

Она вспомнила, что в 43-м, в марте, на следующий день… было само «вскрытие» оврага, было это сумасшедшее, ни на что вообще не похожее опознание…И она, уже взрослая женщина, вдруг, как в 43-м, почувствовала, что у нее кружится голова. Чтобы сразу же не упасть, Клавдия Васильевна ухватилась рукой за чей-то забор, остановилась…Закрыла глаза, отдышалась. И она поняла, что ей, как говорят, «перекрыл» воспоминание о похоронах на Восточном кладбище - овраг!.. И он с тех пор не дает ей, как говорят, «ни отдыха, ни отпуска»…

Она постояла, пока голова чуть успокоилась, вернее, даже так – пока возле нее не встал кто-то совсем ей незнакомый и не спросил: «Женщина? Вам, что, плохо?», на что она ответила: «Нет, что вы! Спасибо, у меня все хорошо!», отпустила забор и очень медленно, чуть даже пошатываясь, пошла домой…

Придя домой, Клавдия Васильевна машинально заглянула в почтовый ящик – письма там, как обычно, не было, - и, даже не переодевшись, достала тетрадь, ручку, подвинула к себе чернильницу и начала писать. На этот раз письмо было длинным. Такого она еще никогда не писала. Она, торопясь, сбивчиво и с повторами писала, на этот раз, обо всем. И о том, как она тогда попала на кладбище, на похороны земляка; как ей было и очень жаль его, и как она испытывала странное чувство: похороны, у людей горе, а ей почему-то приятно, вроде бы даже и радостно – то ли от музыки духовой, то ли от того, что убитый похоронен, он уже в раю, на небе, и такая благодать вдруг разливается по сердцу, такой покой… И она сразу, без какого бы то ни было перехода, стала взволнованно рассказывать тут же и об овраге, о расстреле, о «вскрытии» трупов, и о том, как все это давит на нее, гнетет и туманит мозг и не дает покоя… «А все почему? Да потому, - писала торопливо она, - что расстрелянные не похоронены и над ними нет памятника!.. А они ведь все его заслужили!.. Так говорили при «вскрытии» и командиры, и наши гости из Краснодара, и корреспонденты, и военные, и гражданские…Они сказали и уехали, - писала она, чуть не плача. – И где теперь их найти, чтобы мы могли спросить у них: что же вы?..»

Это было, пожалуй, последнее письмо, написанное самой Клавдией Васильевной и посланное в большой город – может, в Ростов, а, может, даже и в Москву. На него, как и на все другие, предыдущие, ответа не было… А ведь как писала Клавдия Васильевна, она писала эти тревожащие всех людей письма, как думала она, зная, как все это тревожит ее саму и ее друзей, считай, «каждый праздник»… И не надо очень долго думать, чтобы понять, что же такое все эти годы испытывала эта скромная, абинская, сначала девушка, девчушка даже, потом уже женщина, рассудительная и мудрая, уже немолодая, посылая раз за разом письма – в краевой центр, в Ростов – Ростов, наверное, еще с тех времен, когда и Кубань, и Ростовская область были, как говорят, вместе, пользовался у нас большим авторитетом, - а то и в саму столицу Родины. И ни откуда – ни одного ответа. «Положительного», - как она сама писала… Не получите вы ответ хоть на два письма – и вы поймете, что это такое… А тут – годы молчания!.. А, впрочем, ну, и о чем мне с вами, теперешними, говорить?... Тоже ведь не пишете, правда?..

А жизнь – продолжалась. Мелькали, неслись без остановки недели, месяцы, годы и даже пятилетки… Выходных люди почти не замечали. Стали замечать, лишь когда суббота стала тоже выходным днем. Уже судьба вновь разбросала друзей военных лет. Все реже стали они видеть друг друга. Но все помнили о своей мечте – увидеть памятник на месте расстрела. И помнили слова Клавы: «Я добьюсь!» И однажды сначала очень удивились, когда на «вечный» их вопрос: «Клава, а ты все пишешь?», услышали поразившие их слова: «Нет, я уже не пишу…» Но удивились только на миг – они же все всё понимали: она сделала все, что могла…

А потом ее друзья стали потихоньку уходить из жизни… Странно как-то «ушел» Володя Коровин, тот, что в 43-м боялся, что его не возьмут в армию, из-за веса. «Мало ел!.. – так он говорил, - в оккупации…» У него была гангрена, отрезали обе ноги. А спасти его то ли врачи не сумели, то ли еще что приключилось?.. Умерли и Павел Бурун, и Иван Колычев.

«Осталась одна я, - писала Клавдия Васильевна. – Буду помнить…». А что помнить? Вот в последнем письме она писала: «Где их найти, тех, что в 43-м, в марте, говорили всем о необходимости памятника.?..»

Найти и что спросить?.. Вот нашла бы, сначала Клава, потом уже Клавдия Васильевна, в Москве, допустим, Константина Симонова: поэта, корреспондента главной армейской газеты «Красная звезда», драматурга, писателя с мировым именем – он при освобождении Краснодара был на Кубани, писал о зверствах немцев, возможно, был и в Абинской, видел и овраг, и его «вскрытие»… Возможно, он и на митинге выступал и говорил, увидев такое, - он это мог сделать. И умел, кстати, – его душа горела!..

Но что ответил бы он Клаве или кому другому, задай она (или кто другой) ему вопрос: «Вот вы, Константин Михайлович, говорили у нашего оврага…». «Говорил, помню, как же, - ответил бы он и тут же спросил бы. – А вы до сих пор не поставили там памятник?.. Не ожидал!.. Как же так?.. Плохо, голубушка, вы память бережете… О своих земляках, смею я вам напомнить!.. О расстрелянных непокоренных!.. Не ожидал…» - И только вечная его повседневная занятость остановила бы его от толкового - он это умел! - выступления о том, кто должен память людскую беречь?..

Неизвестно – уже никто не скажет, - что же все-таки заставило Клавдию Васильевну не только что отложить перо в сторону, но и спрятать подальше бумагу, так, чтобы и найти нельзя было: упорное, можно даже сказать, тупое, молчание городов и столиц – бюрократия в России всегда была сильна и надежна, а сито для прохождения писем и бумаг – мелкое и частое, - или вполне возможная, как у нас говорят, «выволочка» за то, что человек на себя что-то берет «лишнее», по мнению того же бюрократа, например, заботу о памятнике в какой-то Абинской… Может быть, и то и другое… Ведь было же так: когда молодой, но уже очень известный советский поэт Евгений Евтушенко написал стихи про киевский Бабьий яр, в Киеве никто не хотел их публиковать: боялись той самой «выволочки». Поэт добился публикации. Но, как говорят, где Евтушенко и где Клава Литяга?.. Несопоставимо…

Но Клавдия Васильевна помнила про свои слова, сказанные ею своим друзьям: «Я добьюсь!..» И, как вы уже видите и как увидите в дальнейшем повествовании, она никогда об этом не забывала, хотя находились люди – да что там находились, их, если разобраться, было куда больше, чем таких, как Клава, - которые считали, что в Клаве говорил лишь ее юношеский, девичий максимализм, а он, как правило, с возрастом проходит; подумаешь, - видела. «Видела», ну и что? Мало мы чего видели, и что ж теперь делать? Стоять и кричать?» - говорили они, а другие же просто молчали… В том-то и дело, что Клава, а потом уже и Клавдия Васильевна ведь совсем не кричала, она просто хотела сберечь людскую память для всех для нас, для всех…

Но сколько же лет прошло, и каких! – молодых и здоровых, готовых и помочь, и самой поучаствовать в этом нужном и благородном деле, - и сколько было бессильных слез ею выплакано, сколько раз – или десятков, а, может быть, даже и сотен раз! – сердце у нее заходилось от боли при виде запустения, что, считай, каждый день, всякий час опускалось над их оврагом, затягивало его сорняками, мусором, и, - знаете, трава такая болотная есть, ряска, - ряской равнодушия и забвения… Всеобщего…

Писать она перестала… Но воспоминания, куда от них денешься, куда спрячешься?.. Если они, особенно, когда здоровье стало похуже, когда болячки одолели, идут, считай, что ни ночь, сплошной чередой… С такими пугающими подробностями – с крикамии, жестами, со всеми самыми, ну, мельчайшими деталями – откуда они, такого ведь вроде и не помнилось раньше, а потому приходится напрягаться и вспоминать все «пошагово», день за днем, а это ведь – и головная боль, и зашкаливающий пульс, и ночь, считай, - уже без сна…

Потом, когда ей уже будет за 80, она напишет о том, как она - «по состоянию здоровья» - часто бывала на месте расстрела, рассказывала, что она видела здесь в 42-м и что – в 43-м, и ее удивляло, что люди вокруг ничего не знают. А иногда ей и не верят!.. И она не знала, как ей быть?.. Как ей вот доказать людям, что все, о чем она говорит, было здесь вот, у этой вот самой калитки, которая, кстати, появилась здесь совсем недавно, а раньше здесь был расстрел…

Она рассказывала и замечала, что многие на нее смотрят как-то очень странно… Пальцем они у виска еще не вертят, но где гарантия, что завтра-послезавтра они не сделают это?..

Иногда ей очень хотелось сказать этим людям: «Люди добрые, ну не смотрите на меня так! Я в своем уме, просто все это я видела!.. Понимаете, видела!.. Не думайте обо мне плохо,.. Я не бабка Рябова, та, что ходит с палкой по кабинетам и бьет стекло на столах… Я ведь не сумасшедшая…». Но она этого не говорила, остерегалась…

А как только Клавдия Васильевна прочла в газете «Восход» статью о том, что «пора уже вырвать траву забвенья на месте расстрела», - «Надо же, - подумала невольно она. - Кто-то еще мается от этих дум…» - и она сразу же достала и перо, и бумагу… и написала в редакцию - своей районной газеты! – первое письмо…

Вот оно, читайте: «Уважаемый……. Прочитала вашу статью за 16 марта. И решила сама написать, хотя и прошло много лет. Я так и не пойму, почему никто не знает о том, где расстреляны некоторые мирные жители? До войны и в войну мы жили по ул. Шевченко, дом 52, на том месте, где расположена сейчас Рембыттехника. Наш дом был последним у самого оврага… Где сейчас находится школа-интернат и райгаз, было опытное поле ВИТИМа. Здесь росла кукуруза и табак в рост человека. Вот в этих местах мы прятали и пасли своих коров. Это Володя Коровин, Павел Бурун и Ваня Колычев. …И вот слышим крик, плач, идет народ, а впереди едет машина с людьми. Немцы стали их отгонять, направили на них винтовки, и люди отстали. Через овраг был мост. Переехали мост, свернули налево и поставили машину задним бортом к оврагу, и тут пошло. Два немца на машине, а трое внизу. И стали бросать людей с машины и тут расстреливать, и они падали прямо в овраг. Последним остался Илья Ткаченко, забился в угол машины, стал кричать «пан, не стреляй, у меня дети», 4 пальца показал, и его пихали, как собаку, с машины сбросили и расстреляли. Когда с этим покончили, поставили знак: кто подойдет – расстрел. А трупы чуть-чуть присыпали землей… И уже 23 марта, когда нас освободили, дети с матерью нашли труп своего отца по одежде, которая сразу рассыпалась, собрали кости в мешок и похоронили на кладбище. Кто знал место расстрела, находили своих, а то большинство были незнакомые люди, но женщин с детьми не было. Были одни мужчины. Среди них Ваня Колычев узнал Сытника, я – Ткаченко Илью… Место расстрела легко найти. Идешь в райгаз через мостик, свернуть налево и напротив калитки – вот это место, где была расправа… Что я знала и видела сама, то описала. Жаль, что нет в живых Колычева, Буруна Павлика, Коровина Володи… С уважением к Вам Литяга Клавдия Васильевна. (Калиниченко)…»

 Эпилог

Когда в апреле 2010 года рядом с оврагом был – наконец! - открыт Поклонный камень, а это было сделано при, скажем так, достаточном стечении народа, хоть большим бы я его и не назвал, - были ученики 6 «б» класса, члены отряда «Память» ДДТ в первой школе города, были ученики других школ города, участники «Вахты памяти», были даже представители общественности города Абинска, были чиновные лица города и района, были ветераны труда и войны и были, на мой взгляд, главные здесь – родственники расстрелянных и люди, видевшие нечто подобное тому, что было на берегу оврага, пережившие это… 2010 год. Представьте себе, сколько лет – и каких! – отделяло всех нас от 1942 – 1943 годов?.. Даже мы, свидетели – пусть и малолетние, но все же свидетели того ужасного времени! – мы не могли бы, попроси кто нас об этом, нарисовать хоть какую картину, эпизод или даже штрих того периода; так: общие слова, неконкретные, обтекаемые фразы, ну, может быть, настроение – не больше… А что говорить о тех, что моложе, куда моложе нас – они что видят?.. Мы хоть книги о войне читали, кино смотрели, очевидцев слушали, а они?.. Хотелось бы спросить, что же они представляют, слушая выступающих, присутствуя на митинге?.. Но никто не посмел это сделать – зачем ставить людей в неловкое положение?..

Нет, видно, такой разрыв между самим событием – даже если не брать 42-й, осень, а лишь ограничиться 43-м, т. е. уже «вскрытием» оврага, скажем так, обнажением злодейства, видением расправы над безоружными, - все равно недопустим… Слишком много лет прошло, память размыта и замыта, столько всего сверху навалено и накидано, столько всего нас, теперешних, отделяет от того ужаса оккупации, что был в 42-43 годах…

Так, может быть, все так и оставить, сделать вид, что мы и не знаем – не говоря уже о слове ПОМНИМ?.. Ведь об этом нигде не написано. Захотел бы кто что-то узнать – не вспомнить, а просто узнать, как, к примеру, узнаем мы о походах Александра Великого, а об этом нигде не написано. А раз об этом не написано, так, очень может быть, его и не было?.. Так, может, так и оставить, в газетной строке – газета живет день-два, от силы – неделю. Пока она в доме, в библиотеке… Она ведь рассыпается куда быстрее, чем та же одежда… Помните, одежда на расстрелянных, побыв под землей всего семь-восемь месяцев, сразу, как только их раскопали, рассыпалась. С бумагой дело еще быстрее…

Ответ на этот немаловажный вопрос Абинску дала Клавдия Васильевна Литяга. Когда дело с Поклонным камнем сдвинулось, наконец, с мертвой точки, и наметился День его открытия, она была не просто очень пожилым человеком, но и больна инсультом. Что это значит, думаю, вам объяснять не стоит. И все же она написала – я не стану уточнять: продиктовала сестре или же сама нацарапала, - но она написала… «Большое спасибо за памятник. Когда дочка сказала, что будет памятник, я от радости плакала. Наконец, есть справедливость!.. Сколько я не писала в Москву и Краснодар, мне не было положительного ответа. Я очень рада, что он есть. Жаль, что нету Володи Коровина – он ждал такого события… И Павлик Бурун умер, тоже так и не дождавшись… Я одна осталась, буду помнить… Но не смогу приехать посмотреть – меня подкосила болезнь. Не могу ходить, руки не слушаются. Украла мое здоровье война… Пишу последнее письмо. Теперь и мне можно умереть – я дождалась…».

Клавдию Васильевну можно было понять: лет за пять-шесть до того, а, может быть, и раньше, она потеряла способность ходить и уже не могла прийти к райгазу и рассказать случайным, чаще всего, женщинам, о том, что здесь было в 42-м и 43-м и что она видела собственными глазами. Мы в редакции понимали ее: после публикации ее письма никто в районе, как говорят, и не подумал о памятнике, или выражаясь точнее, как говорили в Абинской, никто и «не почухався»; вот она, заменив одной собой отдел пропаганды, отдел культуры, музей, совет ветеранов, общество «Знание» и еще целый ряд обществ и организаций, стала и тем, и другим, и третьим… Нам было понятно ее поведение: потеряв не одно десятилетие на письма в Краснодар, Москву и даже, как уже раньше говорилось, и в Ростов и не получив ни одного «положительного ответа», Клавдия Васильевна и нас, т.е. районную газету ни во что ни ставила, просто не питала к ней ни капли уважения. Если ей не дали «положительного ответа», такие адреса, то чего ждать от районной газеты?.. А теперь вот, обезножив, она тоже выбыла из строя.

И тут вдруг заговорили о памятнике. Это было, как светопредставление - никто его не видел, но все устраивают невероятное столпотворение. И она вдруг сразу же почувствовала себя молодой, 23-летней, все знающей и всем нужной, забыв на мгновение о болезнях и возрасте, попыталась даже встать, вскочить на кровати… Мысль ее работала еще быстрей: надо побежать и в школу – ту, что они строили перед войной, - и в совет, рассказать, где и что было, и, понятное дело, в овраг, туда, за мост…И тут она вдруг поняла все: и то, что никуда она, Клава, Клавдия Васильевна, уже не пойдет – не сможет, хоть и хотела бы, и никому ничего не расскажет – выросли новые люди, они знают куда больше, чем она – ах, как же не права была ты в этом, Клавдия Васильевна, мы и до сих пор знаем обо всем так мало! – а что касается того же оврага, то туда стоит ли идти – ни ты его, ни он тебя не узнает: он дико зарос где кустарником и даже деревьями, а где их нет – там бурьян выше головы… Сколько ведь лет прошло с той поры, когда ты там была… Она откинулась на подушку и горько заплакала. Ее время ушло…

Но она не сдалась. «Ладно, мне не только ходить или ездить, но и даже двигаться нельзя, - думала она, решая, как ей можно, вернее, нужно в этом деле – установка Поклонного камня! – участвовать. – Жалко, что нет такой возможности - поговорить!..» И она находит выход: она пишет о том, что «она все время плачет». «Я хочу, когда чуть потеплеет, попросить зятя, пусть поведет меня к тому месту расстрела. Я хочу последний раз посмотреть на это место. Я своими глазами видела все это и вспоминаю до сих пор». Пишет о том, что она видела, что чувствовала, набрасывает картинки из своей жизни Жалуется, что «ручка плохо держится», что ей «стыдно за почерк», но она – пишет. Пишет и не всегда письмо отправляет…

И так, считай, до последнего дня…

Так, граждане Абинска, можем ли мы оставить кровное дело Клавдии Васильевны Литяга, как говорят, на полпути?..